

Уильям ГОЛДИНГ

ПИРАМИДА

Моему сыну Давиду

Живя среди людей, усердствуй в любви,

Ибо любовь – начало и конец сердца.

Из поучений Пта-хотепа

I

Было самое настоящее лето, но дождь зарядил с утра и все лил и лил. Погодка была вот именно что такая, когда хороший хозяин собаку не выгонит. То и дело вихрь обрушивался на деревья, и они стонали и с мольбой заламывали ветки, хоть, кажется, достаточно укоренились на нашей почве, чтобы избавиться от такой наивности. Стемнело рано, – правда, день весь был тусклый, процесс потемнения шел медленно, незаметно. Зато когда тьма окончательно сгустилась, она плотно обложила фонари, и дождь все падал сквозь нее, падал. Я играл на пианино, пока у меня не распухла голова, дико и бездарно выстукивая до-минорный этюд Шопена, который, когда играл его Моисеевич [1], выражал, кажется, всю глубину и силу моей собственной любви, мое собственное безнадежное безумство. Но Имоджен была обручена – и всему конец.

И я лежал с пересохшим ртом и терпел. Меня выводил из себя только грохот воды, то и дело как гравием ударявший в стекла. Восемнадцать лет – самая удачная для страданий пора. Есть необходимые силы, и никаких защитных приспособлений. На церковной башне пробило полночь, и еще до двенадцатого удара погасили на Площади три газовых фонаря. Имоджен у меня в голове проезжала мимо по дюнам в его зеленой открытой «лагонде», и длинные рыжие волосы реяли за бледным лицом – она была всего на пять лет меня старше. Что-то мне надо было сделать. Я опоздал. Я смотрел на невидимый потолок, и она проезжала мимо. И его я видел, такого самоуверенного, старого, такого могущественного – владельца "Стилборнского [2] вестника", – непроницаемого. Я слушал его комариный голос, и тут его поразила молния. Сверкнула, ударила – вместо него остался только дымок. Каким-то образом Имоджен в результате молнии потеряла сознание. Я нес ее на руках.

Я подскочил на постели, уставясь на окно и стискивая одеяло у подбородка. Такой громкий, такой резкий был этот звук. Окно чуть не треснуло от стука, кто-то будто палил из духового ружья. В моем уме смутно мелькнула сломанная ветка, сорванная черепица – но нет, не то, вот снова раздался стук! Я вынырнул из постели, весь в мурашках от непонятности происходящего, метнулся к окну и глянул на Площадь. Возле самого моего лица снова стукнуло, я пригнулся, посмотрел прямо перед собой. Сразу за решеткой, отделявшей нас от булыжной мостовой Площади, мерцало белое лицо. Я приспустил раму, и ветер сразу схлестнул меня ситцевой занавеской.

– Оливер! Оливер!

От дикой надежды у меня покатилося сердце. Но нет, это не голос Имоджен.

– Что случилось?

– Тише ты!

Лицо пригнулось к нашей калитке и, оставя ее позади, всплыло по кирпичной тропке, остановилось у меня под окном.

– Кто тут?

– Это я. Эви. Эви Бабакумб. Что ли не видишь?

– Какого...

– Тише ты, еще разбудишь кого. Спускайся осторожно. Одевайся. Ох, ну поскорей! Я...

– Минуточку.

Я нырнул обратно в комнату, стал на шаривать свою одежду. Я довольно часто видел Эви, притом годами. Но никогда с нею не разговаривал. Я видел, как она скользит по другую сторону Площади своей неповторимой походкой – тело неподвижно, только ножки переступают ниже колен. Я знал, что она работает рядом, в приемной у доктора Юэна, что у нее сияющая черная грива до плеч и фигура, преображающая белое с синим ситцевое платье, знал, что она дочь городского глашатая и живет в одной из развалюх Бакалейного тупика. Но, конечно, мы с ней ни разу не разговаривали. И знакомы не были. Само собой.

Я на цыпочках спустился по лестнице, в темноте избегая третьей ступеньки, под звуки нежного храпа из родительской спальни. Снял с гвоздя плащ, с предосторожностями, как взломщик возле сейфа, поднял цепочку, щеколду, отпер ключом входную дверь. Эви дышала в нее с другой стороны.

– Сто лет копался!

Она как-то странно пропела это и скрипнула зубами. Сейчас, совсем рядом, я разглядел, что она накинула на голову шарф и обеими руками придерживает ворот плаща.

– Спешил изо всех сил. Чего тебе?

– Бобби Юэн с машиной в лесу. Не может ее сдвинуть.

Какие бы зыбкие допущения и надежды ни роились в моем мозгу, они тотчас лопнули. Бобби Юэн был сын доктора Юэна. Мы были соседи, и я его не любил. Я завидовал его частной школе, предстоящему поступлению в Крануэлл [3] и главное – его красненькому мопеду.

– А мне какое дело? Почему он, например, Генри Уильямса не попросит?

– О Господи!

Она немного ссутулилась, качнулась ко мне. Может, из-за туч поднялась луна. А может, поднялись сами тучи. Так или иначе, все вдруг обтянуло светом, рассеянным, смутным, будто исходившим отовсюду сразу или присущим самой природе воздуха. При этом свете я мог подробнее ее разглядеть. Лицо очень белое, рот и глаза – черными сливами, и по ним размазаны черные пряди. Ее обливала и стекала с нее ручьями вода. Она шмыгнула носом, вцепилась в мои плечи, ткнулась лбом мне в грудь.

– И еще у меня, это, каблук отлетел. Папка прям...

Дернула головой, одолевая чиханье, зажала ладошками рот. Молча содрогнулась. Пукнула.

– Извиняюсь.

Сливы глянули на меня поверх ладошек. Она смущенно хихикнула.

– Послушай, Эви. Что я, по-твоему, должен сделать?

– Помоги ему машину из пруда вытащить.

– Из пруда!

– Ты знаешь это где – лесом-лесом и на горку. Ох, ну, Олли! И чтоб никому. Пряж жуть, что будет...

– Пусть сам со своим отцом разбирается. Недоумок малолетний!

Роберт был на три месяца старше меня, Эви – на три месяца младше.

– Как ты не соображаешь, Олли! Это не отца его машина!

– А, ну, значит, так ему и надо.

– Ох, Олли, а я на тебя понадеялась...

Она шагнула ко мне, подошла вплоть. Вжала в меня груди. И тут, будто она включила его своей волей, я почуюл запах, от которого у меня зашлось дыхание. Плащ мокро свисал с нее, и под ним мало что было надето.

– Мне в двенадцать дома быть, кровь из носа.

– Уже первый час.

– Знаю. Если папка узнает...

При всем холоде и сырости ночи сердце мое забухало – бух, бух, бух. Руки обвились вокруг нее. Она ровно дрожала.

– Ладно уж.

Она стиснула мои плечи.

– Ох, ну, Олли, ты мировой человек!

Нижняя из трех слив приподнялась, и я ощутил холодный клевок. Она меня отпихнула.

– Скорей. Ты лучше на велосипеде ехай.

– У меня фонарика нет. Я лучше бегом. И – Эви...

– Чего?

– Может, мы с тобой... Ну, может, мы...

Она, кажется, вздумала прихорашиваться – подняла руку, чтоб смахнуть с лица свисавшие пряди.

– Ну, это мы потом разберемся, да?

И – исчезла, ковыляя через Площадь и придумывая увертки.

Я удостоверился, что смогу попасть в дом, тихонько закрыл калитку и ушел на цыпочках. Отойдя на безопасное расстояние, я припустил трусцой, мимо ратуши, по Главной улице, к Старому мосту. Ветер, пожалуй, поутих, но дождь лил по-прежнему ливнем и, когда я пробегал мимо гаража Генри Уильямса, уже ручьями натекал мне за ворот. Как ни противно мне было помогать Роберту Юэну, я был счастлив. Моему умственному зору Эви

предносилась не мокрой курицей – лицо, сведенное к трем сливам на белом пятне, – но в летнем платье, и она переступала ножками, которые, хоть кое-кто счел бы их чуть коротковатыми для совершенства, тем не менее были в порядке, очень даже подходящие ножки. Для чего подходящие? В случае Эви это было понятно само собой. Она была наша местная достопримечательность и каждый представитель сильного пола во всей округе на себе это ощущал. Возможно, правда, вечная разомкнутость и вывороченность этих губ объяснялись не столько постоянно возбужденной чувственностью сколько устройством носика, при всей своей задиристой наглости плохо оборудованного для скромных дыхательных целей. Она шла – бедра неподвижны, только ножки переступали ниже колен – в темном облачном колыхании гривы, женственная, чистенькая, в своей прогулочной униформе – ситцевое платье, белые носочки, сандалии. Мне покуда не посчастливилось подробно ее разглядывать при дневном свете, но беглый взгляд меня ознакомил с ее ресницами. Пробираясь сквозь дождь и тьму в сторону Старого моста, я вдруг вспомнил кисточки – не тонко заостренные орудия мастера, но кисточки детства, так жадно теребившие краски, что во все стороны жестко торчали путаные волоски. Я вспомнил эти воровски отмеченные ресницы, эти кисточки, так мило дрожавшие вокруг ее глаз, и припустил быстрее. Я и не заметил, как добежал до Старого моста. В Эви не было ничего от сакральной прелести Иможен. Исключительно мирская.

Крутой подъем к лесу заставил меня, однако перейти на шаг и опомниться. В конце концов, существует ведь Бобби Юэн – со своим мопедом, престижной школой и фанаберией. Существует и сержант Бабакумб. Вспомнив о сержанте, я с разгону остановился. Если он узнает, что я целовался с его дочкой – ну, то есть она меня целовала после полуночи, он свернет мне шею. Или пожелает поговорить с моими родителями. Неизвестно, что хуже. Сержант Бабакумб, блюститель ратуши, тюремный попечитель, церковный служака, городской глашатай и прочая, прочая, каких еще только должностей не резервировала для него наша выморочная история, – пусть сержант Бабакумб и смешон в наряде городского глашатая позапрошлого века, но при мысли о том, что он ее отец, мне представилась могучая грудь, мясистые кулаки и апоплексическая физиономия с воинственно выпученными глазами. Я вздрогнул, задавшись древним как мир вопросом: зачем у таких отцов рождаются такие дочери?

Потом – будто она стояла рядом – я втянул ноздрями пахучее веяние, и сержант обратился в нуль. Я затрусил в гору, мокрые брючины облепляли голени, с волос капало в глаза. Правда, ветер унялся, унялся и дождь. И перед тем как нырнуть в межкомельную глубину, я отметил наверху прочисть во тьме, которую силился прободать месяц. Церковные часы в долине пробили час.

Стало еще светлей, когда я вышел на прогалину подле Оковалочного пруда. Я различил очертания малолитражки, стоявшей у дальнего от дороги берега и обведенной водой. Роберт Юэн вышел из тьмы под деревом, стал на дороге, поджидая меня.

– Олли?

Подойдя ближе, я увидел и услышал, что он дрожит пострашней, чем Эви, но честно старается этого не замечать. Костистый, тощий, на семь сантиметров меня выше, он обладал копной рыжих волос и профилем герцога Веллингтона [4]. Он стягивал на себе плащ. Ниже торчали белые голые колени, еще ниже – голени, все в черных разводах, и под разводами – мятые носки. Одна нога была без ботинка.

– Я. Господи. И как тебя угораздило?

– Что так долго? Ладно, раз уж ты наконец явился, давай действовать.

– Где твой ботинок? И брюки?

– Утонули, детка. – Роберт избрал беспечную интонацию, но его подвели вдруг застучавшие зубы. – Канули без следа.

– Я знаю эту машину! Это Пружинкина! Машина мисс Долиш.

Роберт обратился к ней герцогский профиль.

– Не важно. Лучше решим, что делать.

– Ну да, а почему?..

Роберт шагнул ближе, склонил ко мне лицо.

– А вот это не твоё дело. Но если уж хочешь знать, я подбрасывал нашего юного друга Бабакумб на танцы в Бамстед. Не мог же я везти её на мопеде в такую погоду, верно? Вот я и занял экипаж Пружинки на часок-другой. Что, собственно, она могла бы иметь против, верно? Только ты, разумеется, не должен ей ничего сообщать.

Я понял, что сын доктора Юэна не мог повезти на танцы в машине своего отца дочь сержанта Бабакумба. Мне не пришлось долго думать. Это было естественно.

– Ясно.

– Ты удовлетворен?

Он стоял на дороге, ежась и приплясывая, пока я снимал ботинки и носки. Вода была жутко холодная, зато мелко. Роберт не догадался, конечно, что из пруда есть два пути, и вытаскивал машину задом на горку, хотя, тратя вдвое меньше энергии, мог бы толкать её вперед. Мы её вытащили на дорогу, я сидел на подножке и обувался, Роберт бился над зажиганием и сражался с заводной ручкой.

Когда я уже завязывал шнурки, он сдался и встал, нарисовавшись герцогским профилем между мною и месяцем.

– Безнадёжно, Оливер. Придется тебе её толкать.

– Мне? Ещё чего! А почему ты сам не можешь толкать эту дрянь?

– Пораскинь мозгами, детка. Кто-то должен сидеть за рулем. Ты что – умеешь править? И вдобавок ты тяжелей меня.

– Интересное кино!

Тем не менее это была правда. Роберт был на семь сантиметров меня выше, а уж держался так, будто на все тридцать, на целую голову, но он был вдвое тоньше. Меня вдруг прорвало.

– Господи! Уж помалкивал бы! Загнал эту говенную телегу в этот говенный пруд!

Я вскочил в совершенном бешенстве.

– Спокойно, – сказал Роберт. – Поясняю. Я не правил.

– Так какого лешего...

– Ты намерен провести здесь остаток ночи? Собственно, нас занесло с дороги под это дерево ради легкой разминки. Да, кстати, вспомнил... Минуточку...

Он обежал пруд, взбежал к тому дереву на взгорке, вернулся, что-то неся в обеих руках.

– Настил.

– Это еще зачем?

Он открыл дверцу двухместной Пружинкиной малолитражки и стал запихивать настил. При этом он бросал мне через плечо, как офицер, вдохновляющий своих людей на безопасную, но сложную операцию:

– Маловато в этих марках места. Наша крошка сидела спереди, и я вытащил настил, чтоб стоять на земле. Схватываешь? Только дело, увы, сорвалось, верней, эта старая колымага. Очевидно, я задел задницей ручной тормоз. Итак, ухнем, юный Олли!

Действительно, навалясь на машину спиной и уперевшись обеими ногами, я, конечно, смог ее двинуть в гору. Она стронулась, я повернулся и стал ее толкать под углом сорок пять градусов вверх. Это было не так уж трудно. Но вдруг, без всяких прелюдий, машина стала, саданув меня багажником.

– Тьфу ты!

– Ножной тормоз несколько резковат, – сказал Роберт. – погоди минуточку, Олли. Я чудовищно продрог. Что греха таить. Раз уж мы стали, я гляну, нет ли у старухи в багажнике пледа.

– Нет уж, рули давай! Если она опять станет, я иду домой!

Над дверцей показался его профиль – Роберт вылезал из машины.

– Я погибаю!

– И погибай!

Это был открытый мятеж. Не говоря ни слова, Роберт влез обратно, зубы у него стучали, плечи, даже руки тряслись. Мы снова стронулись с места.

Я ворчал:

– Говенная телега. Кретин говенный. Говенный ножной тормоз. И какого черта ты не нажал на него тогда, под своим этим деревом?

Тут уж Роберт вышел из терпения, он даже взвыл.

– А ты не пробовал бегать с горки задом со спущенными портками?

– Ну, тогда девка говенная. Она почему нажать не могла?

– Как, интересно, если ноги у нее были на ветровом стекле?

Я понял. Я продолжал толкать, крикая и ругаясь.

– Давай-давай, Олли! Так-то оно лучше. Мы почти наверху. И все же она дивная девочка, наша юная Бабакумб, надо отдать ей должное.

– Почему это?

– Она пыталась править.

Вдруг вес машины убавился. Я услышал, как Роберт потянул за ручной тормоз, и она остановилась.

– Какого лешего...

– Все. Влезай.

Мы были на верху горы, дорога сбегала из лесу вниз, к Стилборну. Я различал: церковную башню, сумятицу домов, деревья темными призраками. Я влез к Роберту, уселся рядом. Я ворчал, он дрожал.

– Господи, как еще я ее по Главной улице пропру!

– Этого от тебя и не требуется. – Роберт задрал к небу герцогский профиль. – Кстати, там нас копы засечь могут. Дунули!

Сто двадцать секунд спустя я вынужден был признать, что то ли в своей этой школе, то ли в семье, то ли даже из «Однокашников» и «Записок мальчика» Роберт поднабрался кой-каких качеств, не вполне, на мой взгляд, заслуживающих презрения. С выключенными фарами и мотором мы перемахнули горб Старого моста, как горнолыжники. Пронеслись по Главной улице, через бетонированную площадку гаража Уильямса, нырнули вправо между двумя сараями, влево, на открытый участок, где Роберт вечером обрел машину, – все исключительно на силе земного притяжения. И только тут остановились таким рывком, что меня кинуло носом на Пружинкино ветровое стекло. Очухавшись, я почувствовал к Роберту невольное уважение. Но мы так друг на друга злились, что прощание не могло не быть натянутым и ледяным. Молча, надутые, мы на цыпочках обходили Площадь. Роберт остановился у нашей калитки, повернулся ко мне и холодно шепнул с высоты своих лишних тридцати сантиметров:

– Ну вот. Спасибо за поддержку.

Я шепнул:

– Не стоит. На здоровье.

Мы расстались, озабоченные каждый тем, как бесшумно войти. На церковных часах пробило три.

* * *

Солнце вползло мне на лицо и разбудило меня. И сразу я вспомнил – машина, Роберт, три сливы, одна поднимается, пахучее дуновение. Юный оптимизм мне подсказывал: ничего не кончилось. Все только началось.

И что еще ожидало меня впереди! Из окна нашей ванной просматривался не только наш двор, но и двор Юэнов. Возможно, очень даже вероятно, я увижу Роберта за его тренировкой и смогу над ним поиздеваться. Я, осклабясь, кинулся в ванную. И действительно. Глянув в окно, я сразу увидел, как он трусит по тропке в шортах и майке и свирепо лупит воздух боксерскими перчатками. Дотрусил до конюшни, где пристроил подвесную грушу, ловко ее саданул.

– Р-раз!

Заплясал от нее, потом вокруг, потом снова к ней.

– Р-раз!

Груша не отвечала, только слегка вздрагивала под каждым ударом. Он все дальше отплясывал, выбивая из груши ответ, потом двинулся прочь по тропке элегантной тренированной трусцой – коленки вверх, перчатки вверх, подбородок книзу. Вот повернул обратно, показывая плотные поножи из липкого пластыря на голених. Вернулся к груше.

Я открыл окно и, бодро орудуя помазком, громко расхохотался. Роберт вздрогнул, потом сделал новый свирепый выпад с ближней дистанции.

– Тренируем дух и тело?

На сей раз Роберт не вздрогнул. Сделал нырок, ударил. И опять. Я скреб щеку новой бритвой и хрипло орал:

– Мы во флот пошли-и-и, чтоб увидеть ми-и-р...

Роберт оставил в покое грушу. Я весело озирал бровку горы на севере от Стилборна, пролитый по склону кроличий садок, заросли на вершине и пел дальше:

– Мы увидали пру-уд!

На нижней границе моего непосредственного поля зрения я увидел взгляд Роберта. Таким Взглядом держат в границах империю, умирляют по крайней мере. Вооруженные таким Взглядом, ну и плеткой в придачу, белые легко расправлялись с дубинками и копьями. Он гордо прошествовал в дом, глядя прямо перед собой, задрав герцогский профиль. Я хохотал – громко, дико, насадно.

Мама нежно мне пеняла за завтраком:

– Оливер, детка, конечно, ты сдал все экзамены и скоро поедешь в Оксфорд, и видит Бог, как я рада, что ты доволен, – но ты ужасно шумел в ванной! Что соседи подумают?

Я ответил невнятно:

– Младший Юэн. Смеялся над ним.

– Только не с набитым ртом, детка!

– Прошу прощенья.

– Бобби Юэн. Как жаль, что вы... Правда, он так долго отсутствовал из-за своей школы...

Этот телеграфный стиль не нуждался для меня в расшифровке. Мама сожалела о социальных различиях между нами и Юэнами. И еще она думала о несовместимости характеров, осложнявшей это различие и усугублявшей его. Детьми, так сказать в пору социальной невинности, мы играли вместе. И я знал кое-что про эти игры, о чем ни моя мама, ни миссис Юэн не догадывались. Мы тогда едва вышли из пеленок.

– Ты мой раб.

– Ничего не раб.

– Нет, раб. Мой папа доктор, а твой у него аптекарь.

Вот почему я столкнул его с забора на огуречный парник Юэнов, и еще столько грохоту было, когда он упал. Естественно, после этого наши пути разошлись, а из-за школ, мопедов и нежных родителей наше общение сводилось к тому, что мы снайперски друг в друга стреляли из своих духовых ружей, правда аккуратно норовя промахнуться. И вот я поцеловал Эви Бабакумб – ну, в общем-то, и Роберт выставил себя передо мной идиотом.

– Оливер, детка. Пожалуйста, не свисти с набитым ртом!

После завтрака я как можно непринужденней заглянул в аптеку, где папа – по старинке – скатывал пилюли.

Стоя в дверях коридора, соединявшего наш флигель с аптекой, я впервые сообразил, насколько он больше похож на настоящего доктора, чем важный доктор Юэн или хлипкий доктор Джонс, младший компаньон. Подобные визиты не были у нас приняты, папа только хмуро глянул из-под насупленных бровей и промолчал. Прислонясь к косяку, я измышлял предлог, чтобы пройти в приемную, где сейчас, несомненно, работала Эви. Возможно, папа согласится с тем, думал я, что я нуждаюсь в тщательном осмотре: у меня и правда что-то странное творилось с сердцем. Но я не успел еще выдать первое слово, а уж Эви – снабженная, очевидно, антенной, как моя мама, показалась в конце коридора. В своем сине-белом ситцевом платице, только в чинных чулочках под носками – за конторкой в приемной с голыми ногами она, разумеется, сидеть не могла. Приложив палец к губам, она отчаянно трясла головой. Лицо у нее изменилось. Левый глаз запух, и кисточки с левой стороны не трепыхались, застыли по струнке. Правая сторона была зато подвижна вдвойне. Мне, правда, некогда было детально ее разглядывать, поскольку она явно что-то хотела мне сообщить. Палец на губах, качание головой – это я мог понять. Никому никогда ничего! Тут все ясно, могла бы и не просить. Но эти вращения рук у горла, будто ей грозит удушение, этот указательный палец, свирепо тычущий куда-то в сторону Площади, – это зачем? И голова кивает, и разлетается грива...

Эви застыла. Вслушалась. Исчезла в приемной. Беззвучно закрылась дверь. Папа все скатывал свои пилюли. Я непринужденно побрел по коридору обратно в наш флигель и уселся за пианино. Я играл и думал. Меня всегда выручало это прикрытие. Зачем ей понадобилась Площадь? Кто собирается ее душить? Самой вероятной кандидатурой был сержант Бабакумб, но едва ли он стал бы это делать в приемной у доктора. Или она вызывала меня на Площадь, чтоб потом что-то мне сообщить – ну, скажем, на Главной улице? Ей еще торчать и торчать в приемной. Но она, наверно, как-нибудь вывернется. Все восхитительней прояснялось одно – Эви Бабакумб назначала мне свидание. Не Роберту. Мне!

Я прошагал на Площадь и – руки в карманах – стоял и разглядывал небо. Оно сверкало услужливой синевой. Я ждал, что вот-вот она явится и я пойду за нею в какой-то подходящий тайник, но минуты тянулись, потом уже еле ползли, а она не являлась. Явился, наоборот, сержант Бабакумб. Вышагнул из-под колонн ратуши, вытянулся по стойке «смирно», окинул взглядом вдоль Площади, на церковь. С медным колокольцем в руке, в одежде городского глашатая – башмаки на пряжках, белые бумажные чулки, синий сюртук, слоеный бумажный воротник, красные бриджи, красный жилет и синяя треуголка. Встряхнул колокольцем, грозно оглядел церковную башню. И завопил:

– Эй! Эй! Утеря. На Бакалейной улице, между часовней и Бакалейным тупиком. Крест золотой на цепочке. Выбиты буквы Э. и Б. И надпись: Амыр винзит омины [5]. Харантируется вознаграждение.

Снова потряхнул колокольцем, взметнул треуголку к небу и верноподданно рывкнул:

– Хоссподи, короля храни!

Надел свою шляпу, повернул направо и прошагал предписанным семидесятисантиметровым шагом на угол Мельничной, чтобы все повторить сначала. Э. Б.! Эви Бабакумб! Я понял все. Крестик должен быть найден и возвращен в глубочайшей тайне. Ни звука о лесах и прудах. О танцульке в Бамстеде, возможно, тоже ни звука. Я точно знал, что мне делать.

С моим талантом к долгим глубоким расчетам, который впоследствии столь пригодился отечеству, я проанализировал ситуацию. Эви нужен ее золотой крестик. Мне нужна Эви. Возвращение на то место, где она оказалась столь доступной для Роберта, сулило решение проблемы нам обоим. Она, скрытница, могла тихой сапой отправиться туда сама. Мой тонкий замысел строился на том, чтобы оказаться там с нею одновременно. Я знал расписание доктора Юэна как свои пять пальцев. Знал, что Эви всегда может приврать, что задержалась якобы навести порядок, проверить картотеку. Вправе, между прочим, даже сослаться на чей-то тяжелый случай для прикрытия собственного. Ведь если кто-то, гуляя по лесу, ненароком наткнется на посверкивающий между сучьями крестик и преподнесет его сержанту Бабакумбу, она схлопочет такой фонарь, перед которым померкнут все звезды. Ей даже, если слухи не высосаны из пальца, грозит сержантский армейский ремень с пряжкой и в медных наклепках. При мысли об этом ремне и открывавшейся возможности спасти от него Эви

меня, как я ни был натянут и возбужден, кольнуло благородное сочувствие.

Я прошел коридором к своему велику. Скатился по Главной улице и проехал по Старому мосту со всей осторожностью, потому что сержант Бабакумб теперь уже там оглашал свой текст. Я затолкал велик на горку, потом скатил к пруду.

Все было то же, да не то. Вода была тихая. Лес тоже тихий, только гудел и жужжал под солнцем. Зеленая рябь, сверканье стрекоз подергивали воду, кружила, выплясывала мошкара. Я втащил велик по изволоку от пруда и привалил к гигантскому дубовому комлю. Осмотрел все кругом, потом обшарил взглядом ведущий к пруду след. Крестика я не обнаружил, только грязный ботинок. Я запустил этим ботинком в чистую траву перед цветущим кустом и стоял, глядя на темную воду. Делать было нечего. Оставался метод научного поиска, как, например, разделив на участки пустыню, ищут разбитый самолет. Крестик, наверное – скорее всего, – в пруду. Но сперва логичнее было поискать в более доступных местах.

Я вернулся к дубу и проверил сантиметр за сантиметром все вокруг следа. Покончив с одним участком, я его обкладывал прутиками. Скоро я выложил ими всю площадь между дубом и кромкой воды. Крестика не обнаружилось. Делать было нечего. Я разулся и ступил в воду. При каждом движении я взбаламучивал грязь, выжидал, пока она снова осядет, но и тогда не мог поручиться, что ясно вижу дно. Наконец я стал слепо шарить руками. И все равно я втыкал прутики, чтоб они торчали из воды. Мне удалось обнаружить лишь пару глубоко зарывшихся в дно скрученных броек.

Я прошлепал на берег, печально уселся под дубом и стал ждать, когда у меня высохнут ноги. Я вернулся к своим расчетам, но не тут-то было. Будто грохот ракеты взлетел на холм со стороны Стилборна, понесся сквозь лес. Вот мопед достиг пруда, затормозил, потом задним ходом проурчал по траве к моему дубу. Закашлялся и стал за стволом.

– Ну, прыг-прыг, крошка!

Эви, истинная дочь солдата, мобилизовала все силы.

– О! – сказал Роберт. – О! Кого мы видим! Кого мы наблюдаем!

Эви следом за ним обежала дуб.

– Ну! Олли! Нашел?

– Нет. Увы!

Эви всплеснула руками. Заломила их.

– О Господи! Господи!

Кроме ситцевого платица на ней, кажется, ничего не было, если не считать носочков и сандалий. Возможно, она боялась порвать чулки на заднем сиденье мопеда. Или вообще не любила чулок. Когда мне удалось отлепить взгляд от остальных ее статей, я увидел, что опухоль вокруг левого глаза расползлась по щеке вниз. Другой глаз, яркий, серый, широко распахнулся посреди застывших кисточек – широко распахнулся и был полон тревоги.

– Ну, как личико, Эви?

– Теперь-то уж ладно. Совсем не болит. Я в дверь, понимаешь, врезалась. Жуть как больно было. Господи! Нам же прям кровь из носа надо этот крестик найти. А вдруг кто-то уже нашел! Да папка же тогда...

Роберт положил руку ей на плечо. И сказал мягко, но решительно:

– Без паники, крошка. Просто надо поискать.

– Я уже искал.

– Поищем еще.

– Ты думаешь, эти прутики зачем? Я искал научным методом. Теперь только если пруд выкачивать. Твои брюки, кстати, сушатся там на кусте.

– Спасибо, – выдавил Роберт. Посмотрел на куст. – О Боже! Олли, Олли! Мог бы хоть слегка счистить грязь!

– Еще не хватало!

– Олли! Бобби! Мальчишки!

– Уж я старался для тебя изо всех сил.

– Кто-то его, получается, стибрил, – сказал Роберт. – Ха! Научный метод. Каждый сантиметр облазил и не нашел. Что ж, поверим тебе на слово, деточка!

– Интересно, на что это ты намекаешь?

– Научный метод. – Улыбка все не сходила с герцогского профиля. – Да чем умничать...

Роскошное оскорбление пришло мне в голову.

– Я карманы его вывернул, Эви. Крестика там не оказалось. Может, он в пиджак его сунул. Ты спроси.

– Олли! Бобби! Мне через полчаса на прием!

Роберт уже не смеялся. Стал сразу очень тихий, очень спокойный. Потрепал ее по плечу.

– Ну-ну, успокойся, моя радость.

Я сардонически расхохотался.

– Как шейка после вчерашнего – не ноет?

– У меня? Здрате! С чего это?

Одна сторона ее лица подхихикнула и сразу стала опять серьезной. Роберт медленно прошел к кусту, повесил пиджак рядом с брюками. Вытащил из-за ворота шелковый шейный платок, сунул в пиджак. И так же медленно вернулся обратно.

– Не пройдешься ли ты за это дерево, юная Бабакумб?

– Ты чего? Что удумал?

– Я намерен преподать этому юному крестину урок, в котором он остро нуждается.

Повернулся ко мне, возвышаясь надо мною на добрых тридцать сантиметров, выгнул шею.

– А ну давай. Туда.

И зашел за куст.

Я вопросительно глянул на Эви. Она устремила глаза ему вслед, стискивая руками шею, разинув рот. Я стал босиком пробираться по желудям и сучьям. За кустом была поляна, открытая полоса безупречного дерна между двумя стенами высоких зеленых папоротников. Роберт ждал, со зловещей услужливостью раздвигая для меня руками волчцы. Потом оглядел меня с расстояния нескольких метров, стиснув челюсти, вяло расставил ноги. Что-то он мне смутно напоминал – картинку из книжки, возможно. Он обратился ко мне, будто тоже припомнил книжку:

– Какая сторона для тебя предпочтительней?

Мы в нашей гимназии дрались, конечно, по-своему. Боксерские перчатки, груши и прочее нам были не по карману. Кроме того, я был староста и посвятил себя химии. Я был выше этих глупостей.

– Я не боксирую.

– Ничего. Научу. Может, извинишься?

– Вот уж этого ты не дождешься.

Роберт выпятил левое плечо, поднял кулаки, уткнул в них подбородок и стал приплясывать ко мне. Я тоже поднял кулаки, левый кулак вперед, хотя у меня было то, что Роберт научно бы обозначил как левая стойка. Блистательная октавная техника моей левой руки на клавишах всегда впечатляла, пока не обнаруживалась жалкая неспособность правой. Но Роберт был не пианино. Он во всю длину выбросил свою костлявую левую руку, и лес взорвался сплошной белой вспышкой. Я в ответ мазнул кулаком, но Роберт успел отскочить на три метра, тряс рыжей копной и пританцовывал, готовясь к новому наскоку. Я снова сделал выпад сквозь красные круги, расходившиеся и сплывавшиеся перед моим правым глазом, но Роберт уже опять куда-то делся. – Вот он замахнулся правой и мое левое ухо – да нет, весь лес – пронзил густой, тягучий звон. Руки еще ладно, но весь я скорей неуклюжий. И пока Роберт, недостижимо танцуя, увертывался от моей правой стойки или как она там называется, мое раздражение перешло в злость, потом в ярость. Сами удары – из моего правого глаза опять сыпались искры – только раззадоривали меня – тык-тык-бах-бах! – я задышался и обливался потом из-за этой его неуязвимости. Я отринул всякие поползновения ему подражать и сквозь красные круги, снова ощутив его рядом, в своей октавной технике – фортиссимо, sforцандо! – взял и врезал ему под дых. Прелестно! Он горячо на меня дохнул, обдал слюной. И повис на мне, бессильно стуча в меня длинными лапами, задышавшись, безуспешно ловя воздух. Один его ботинок нестерпимо врезался в мою голую ногу. Я взвыл, дернулся и заехал ему коленкой прямо между ног. С невероятной быстротой он скорчился, разинув рот и зажал кулаки в паху. Я размахнулся левой и снизу угодил ему по носу. Он отпрянул в папоротники на краю поляны и скрылся. Красные круги понемногу таяли, стихал густой звон. Я стоял босиком на поляне, весь мокрый от пота. Я так сжал зубы, что стало больно челюстям. Сквозь шквал в моей голове снаружи в нее проникали только слабые стоны укрытого папоротниками Роберта. Вариации на тему «О-о-о». Первая начиналась с тоненькой долгой ноты и кончалась надломным подъемом голоса, будто он сам себе задавал стыдливый вопрос. Вторая была тоже долгая, очень нежная, будто ответ уже найден. А потом пошло что-то просто несусветное. У меня у самого сердце выпрыгивало из груди, хотелось бежать, обуться, а потом вернуться и на него наброситься.

– Олли! Бобби! Вы где?

Эви где-то металась в папоротниках. Все еще сжимая кулаки, я надсаживаясь заорал:

– Тут мы! Где еще?

Она на секунду вынырнула:

– Где он? Ты чего ему сделал? Бобби!

И снова исчезла. Голова и плечи Роберта показались из папоротников. Одна рука зажимала лицо каплющим красным платком. Другая была не видна, – наверно, все еще зажата в паху. Но и тут, сквозь окровавленный платок, он пытался пустить в ход свою элегантную небрежность.

– Еввундовое поввездение. В бойницу. Пвофу пвофенья.

И стал продираться прочь. Эви еще не появилась.

– Бобби-и! Ты где?

Она выгребла на поляну, побежала, мелькая сандалиями и носками. По ту сторону папоротников мопед буркнул и загрохотал – декрещендо – прочь. Эви застыла.

– Здравсте! Как же я-то теперь? Все ты! Ему завтра в Крануэлл. Мы бы в последний раз...

– В последний раз – что?

Она повернулась ко мне. Глаза у нее горели. Дышала она так же часто, как я. Она возмущенно хмыкнула.

– Все мальчишки – прям гады!

– Н-да, я ему немного подпортил вывеску.

– Рубашка у тебя – ну ой. Прилипла вся.

– Кадет Юэн, Безносое Чудо. Так его в цирке будут показывать.

Снова на меня пахнуло ею, сквозь едкий запах моего собственного пота. Я схватил ее за руку, притянул к себе. Зубы у меня разжались, но сердце бухало, как бешеное.

– Эви...

Лес поплыл.

– Я... хочешь, я для тебя пруд выкачаю?

Кисточки дрогнули. Вытаращился один глаз. Губы округлялись все шире, пока я к ним склонялся.

– Ты послушай!

Я потянул ее к себе; но она была сильнее Роберта и меня отпихнула. И в ужасе дернулась. Я услышал с долины звон церковных часов.

– Третий раз на неделе опаздываю!

Она бросилась в папоротники, я сунулся было за нею, но напоролся голой ногой на чертополох, заплясал и взвыл.

– Эви! Подожди!

– Дак прием уже!

Я разгреб самые очевидные колючки и пробрался сквозь них туда, откуда пришли мы с Робертом. Его брюки и пиджак по-прежнему висели на кусте, рядом валялся ботинок. Я закатал собственные брюки, впопыхах натянул носки, надел ботинки. Эви уже на пятьдесят метров ушла по дороге, когда я был готов рвануть ей вдогонку. Шла шагом, потом припускала бегом, колыхая гривой, потом снова шла. Максимум, решил я, что можно извлечь из нынешнего свидания, – это договориться о новой встрече, и я припустил побыстрей и эффектно затормозил перед нею.

– Вот правильно! Ой, не смотри!

Она подобрала юбку чуть не до пояса. На ней были белые трусики с белыми кружавчиками. Она села верхом на багажник моего велика, и багажник тяжело вздохнул.

– Ты лапка. Нет, правда! Скорей!

Всем своим весом я налег на одну педаль и кое-как столкнул велик с места. Мы завихлялись по дороге.

– Я жуть как опаздываю.

Я напряг все оставшиеся силы, меня снова прошиб пот. Мы развили неплохую скорость.

– Оливер, а ведь он и пиджак оставил, не только эти... Чего миссис Юэн скажет, прям не знаю! Вот мы доедем, и, может, ты?..

– Что – я?

– Ну а кто ж ему принесет?

Я испустил нечто вроде рычания, поднял руку, чтоб отвести волосы, вытереть слепивший глаза пот, и чуть не свалился с велосипеда.

– Осторожно!

Вдруг все облило светом, и, хоть я не отрывал глаз от текшей под переднее колесо дороги, я понял, что мы выехали из лесу и теперь на вершине холма. Я откинулся назад и положился на закон всемирного тяготения. Церковные часы прошли еще чет верть часа.

– Не чересчур гонишь-то?

Я нажал на оба тормоза. Секунду мы буксовали, потом снова понеслись. Я жал на тормоза изо всех сил, но это не помогало. Сзади раздался визг, и горб Старого моста полетел на нас со скоростью ста километров в час. Когда мы достигли его, у меня за спиной дико грохнул багажник, хлопнула шина, взвыла Эви. Велик с разгону запнулся, и тяжестью Эви меня чуть не перебросило через руль. Она слезла с багажника и минуту постояла, хлопывая себя обеими руками пониже спины.

– Ой, платье порвала. Нет. Ничего.

– Погоди минуточку.

– Нет, мне бежать надо.

– А что если нам...

– Может. Не знаю. Спасибо все равно, что подбросил.

Она метнулась через мост и скрылась. Я осмотрел свой велик. Багажник и брызговик смялись, сплющились, налипли на колесо. Шина лопнула. Я ругался и возился с изуродованными частями. Наконец мне удалось их расцепить, отодрав брызговик от рваной резины. Я пустил велик по мосту вскачь. Эви продвигалась по Главной улице тем же манером, как шла от пруда, – то и дело меняя шаг на побегу. Вдруг она припустила бегом, уже не сбавляя скорости, но было поздно. Маленькая птицевидная миссис Бабакумб, в своей серой шляпке и со своей кошелкой, уже ее засекла. Перебежала через дорогу и вцепилась ей в локоть. И они пошли по улице рядом, и миссис Бабакумб что-то бубнила у Эви над ухом. С низким злорадством я думал, что на сей раз Эви придется как следует пораскинуть мозгами, чтоб выкрутиться. Я прогремел дальше по улице и свернул к бетонной площадке гаража, чтоб поискать Генри. Но когда я его увидел, я, продолжая толкать велик, решил ретироваться, тактично описав дугу. Генри стоял в белой спецовке, руки в боки, и озирали малолитражку мисс Долиш.

– Мастер Оливер...

– А, привет, Генри. Я подумал, ты занят. Не хотел мешать.

Генри нагнулся и осмотрел мое заднее колесо. Я посмотрел – мимо него – на малолитражку, и ноги мои примерзли к бетону. Она как будто года два мокла в болоте.

– Мама родная, – сказал Генри. – Эко вы его шмякнули. Друга подвозили? Н-да. Теперь хоть выбрасывай.

Я услышал у себя за спиной легкий свист. Капитан Уилмот к нам подъезжал на своей электрической инвалидной коляске.

– Привет, Генри. Готов мой аккумулятор?

– С часок еще обождать, капитан, – сказал Генри. – Вот, посмотрите-ка. И вернулся к малолитражке.

– Погоди, – сказал капитан Уилмот. – Сперва вылезти надо. А ты не уходи, Оливер. Хочу про команду порасспросить.

И стал маневрировать в своем плетеном кресле, побрякивая и скрипя зубами.

– Примкнуть штыхы!

Капитан Уилмот был инвалид войны, за что и получил соответственную пенсию, экипаж и секретарскую службу в госпитале, которая, по собственному его выражению, вознаграждалась гонораром. Снаряд, который его накрыл, в придачу наполнил его организм металлическими осколками в самых нераскапываемых местах. Злые языки из Бакалейного тупика, где он жил напротив сержанта Бабакумба, намекали, что он скрипит и трещит больше, чем его коляска. Из-за этого снаряда он оглох на одно ухо. Из него торчала вата. Он вечно пускал слюни и потел.

– Мне надо идти. Я...

– О Господи. Оставайся и не рыпайся.

Он злился. Это потому, что он вылезал из своей коляски. Когда вылезал или влезал, он всегда злился. Если вы смотрели на его лицо, пока он его не приаккуратит, вы могли иногда напороться взглядом прямо на звериную свирепость, будто его единственный двигатель – ненависть. Но он любил молодых и вообще юность, потому,

может быть, что у него вырвали его собственную, прежде чем он успел ею попользоваться; юный канцелярист, в котором нуждалось отечество. Он безвозмездно обслуживал нас на миниатюрном стрельбище нашей гимназии. После бесконечных маневров усаживался рядом, когда мы лежали против мишеней, подавал советы и ободрял.

– Не дергайся, парень! У тебя мушка, как бадья в колодце, ходуном ходит. Жми – вот так!

И далее ты чувствовал, как тебе долго жмут и мнут ягодицы.

– Ну вот, что скажете, капитан?

Капитан Уилмот подковылял на двух своих палках и пристально осмотрел машину.

– По виду судя – с плотины сверзилась.

Нет, ноги мои не примерзли к бетону. Они в него провалились.

– Это у них называется – покататься, – сказал Генри. – Хулиганье. Я бы им показал – покататься.

Открыл дверцу и заглянул.

– Вот! Полюбуйтесь!

Попятился и повернулся. В руке у него был золотой крестик на цепочке.

– Ну? Чего-чего, а крестика мисс Долиш сроду не нашивала, ни в коем разе!

Капитан Уилмот наклонился к руке Генри.

– Ты уверен, Генри? Где-то я его видел...

Генри поднял крестик к самым глазам.

– Й. Хэ. Сэ [6]. И на другой стороне тоже чего-то есть. «Э. Б. Амор винсит омниа». Это еще чего?

Капитан Уилмот повернулся ко мне:

– Поди сюда, Оливер. Ты у нас грамотей.

Внутри я весь похолодел от страха, снаружи весь горел от стыда.

– По-моему, это значит – любовь побеждает все.

– Э. Б. – сказал Генри. – Эви Бабакумб!

Он поднял грустный карий взор на мое лицо и не опускал.

– То-то я говорю – где-то видел, – сказал капитан Уилмот. – Рядом живет. Ходит ко мне уроки брать, понимаете? Письма, карточки, ну всякое такое. Она его под низ надевает, вот сюда.

– Она раньше тут работала, – сказал Генри, все еще не сводя глаз с моего лица. – Пока к доктору не перешла. Тогда, значит, и потеряла.

– Вообще-то, – сказал капитан Уилмот, – она его не всегда под низом носит, когда бусы не надевает, он у нее

снаружи висит, вот тут. Ну, я пошел.

И поковылял к своей коляске, больше не поминая ни команду, ни аккумулятор. Он нам улыбался, и улыбка стала зверской, когда он усаживался. Сложил обе палки, развернул коляску и засвистел прочь.

Генри все смотрел мне в лицо. Меня, поднимаясь от пяток, неудержимо захлестывала краска. Вот прилила к плечам, ударила в руки, так что они взбухли на руле. Залила мне лицо, голову, даже волосы у меня горели.

– Н-да, – сказал наконец Генри. – Эви Бабакумб.

Двое перемазанных в бензине рабочих, возившихся с мотором грузовика, уставились на нас с улыбками, только что не такими зверскими, как у капитана. Будто у него глаза на затылке, Генри к ним обернулся.

– Я вам деньги за что плачу? Чтоб вы весь день рты разиня стояли? Мне эти вентиля к полшестому нужны!

Я вякнул:

– Можешь ей сам передать. Или, хочешь, я...

Генри повернулся ко мне. Я отлепил от руля одну руку, протянул. Он раскачивал крестик, как маятник, и внимательно меня разглядывал.

– Вы ведь машину не водите, мастер Оливер?

– Нет. Нет. Не вожу.

Генри кивнул и уронил крестик в мою ладонь.

– С приветом от фирмы.

Отвернулся и опять сунул голову в машину. Ноги мои вновь обрели способность двигаться. Я повел прочь свой увечный велосипед, зажав в руке крестик. Когда я подходил к нашему флигелю, в голове стучало только: ух, пронесло.

* * *

Отведя велосипед, я прошел коридором в аптеку, где папа щурился у окна над микроскопом.

– Генри, – сказал я, небрежно раскачивая крестик. – Генри Уильямс. Мисс Бабакумб забыла эту вещицу, когда работала у него в гараже. – Я подбросил и ловко поймал крестик. – Попросил, чтоб я ей отдал, – сказал я. – Ведь она сейчас в приемной, нет? Я только зайду...

Я прошел коротеньким коридорчиком и открыл дверь. Эви сидела за конторкой, пытаясь рассмотреть правым глазом свой левый в круглом зеркальце. И увидела вместо него меня.

– Олли! Ну зачем ты...

– Здравсте. Я думал, ты обрадуешься.

Изо всех сил изображая небрежность Роберта, я бросил крестик на конторку. Эви в него вцепилась с ликующим воплем:

– Мой крестик!

Она положила зеркальце и стала прилаживать на шее цепочку. Лицо ее стало торжественным. Она нагнула

голову, причитала, как-то странно поводила одной рукой вокруг своих грудей. В нашей местной взвеси англиканства, протестантства и чистого безверия я никогда не видывал ничего подобного. Она глянула на меня и вдруг рассиялась с открытым ртом, подмигивая одним глазом.

– Ну, Олли, ты даешь!

– Как это?

Она отпихнула стул, потом снова села, глянула на меня, тиская края конторки. Она меня разглядывала, будто в первый раз в жизни видит.

– Эви... когда же мы с тобой...

– Ишь шустрый какой, а?

Сомнений быть не могло. Эви Бабакумб, красotka Эви, спелая ягодка, смотрела на меня с одобрением, даже с восторгом!

Из глубин докторского дома хлынул голос:

– Мисс Бабакумб!

Она вскочила, откинула гриву, прошла в дверь кабинета. На пороге оглянулась. Хихикнула.

– Он же у тебя всю дорогу был!

* * *

Я понес оскорбление с собой в аптеку. Папа все еще склонялся над микроскопом, поддевая предметное стекло испытанными крупными пальцами. Я беспрепятственно вышел и прошел во флигель, соображая, что мне теперь делать. Если сержант Бабакумб добьется ее показаний с помощью физического воздействия или как-то еще, он может и не разделить восторга дочери по поводу моей воображаемой роли. Дело не терпело отлагательства. Надо было ее увидеть, прежде чем она пойдет домой; но я не находил предлога, чтобы пройти в приемную. Зато из окна моей комнаты вкось просматривалось все до самой Площади и видны ступеньки соседнего дома Юэнов. Как только она выйдет, я снова спущусь и пройду в наш двор. Если мама будет на кухне, можно очень просто объяснить свои передвижения («пойду на велик взглянуть»). Во дворе я наберу скорость, перемахну через забор на Бакалейную, задами пробегу мимо Юэнов, священника и еще три двора до поворота на Бакалейный тупик, а там пройду назад между двором священника и церковью. Таким образом я выйду на Площадь с другой стороны и случайно наткнусь на Эви. Итак, я занял свою позицию и затаился за ситцевой занавеской. Ждать предстояло долго, но что мне еще оставалось? И вот, когда она уже должна была с минуты на минуту явиться, я услышал тяжелый державный шаг, приближавшийся к моему окну с другого направления. Сержант Бабакумб надвигался со стороны ратуши. Он не придерживался обычного своего маршрута – мимо адвокатской конторы Уэртуисля, Уэртуисля и Уэртуисля, эркера мисс Долиш и прочее. Он направлялся курсом, который неизбежно вел его прямо к нашей калитке. Нет, не из-за своих действий в течение последних двадцати четырех часов я пришел в ужас. Но из-за своих намерений. Ибо на лице сержанта под трехцветной треуголкой отображался такой пышущий, такой родительский гнев, что у меня захватило дух. Мясистые кулаки низко раскачивались при каждом шаге, металлические подковы выбивали искры из мостовой. И тут, будто она тоже подглядывала из окна, Эви выпорхнула из двери Юэнов. Она была в белой шелковой, завязанной под подбородком и хлопающей кончиками косынке. И конечно, в чулках. Она смеялась, улыбалась, обнимала себя за плечи, выворачивала икры и чуть вихляла задом. Подпорхнула к сержанту Бабакумбу, вплоть, посылая улыбку ему в лицо, почти вертикально вверх.

– Папка! Смотри! Я его, оказывается, в женском туалете посеяла! Надо же, вот дура-то!

Он шел напролом. Она сошла у него с дороги, повернула и затрусила рядом. Она не поспевала за его

размашистым шагом, то и дело припуская вскачь, и весело хохотала. Поравнявшись с ним, она нашаривала его руку, она льнула к нему боком, склоняла голову и вся тянулась вверх, овеявая косынкой его плечо. Он ушагивал вперед, она снова припускала вскачь, снова нашаривала его руку. Наконец ухватила. Рука перестала раскачиваться. Не замедляя шага, сержант Бабакумб переместил пальцы от ее ладони к запястью. И теперь она уже не припускала вскачь, а ровно трусила рядом мелкой побежкой. Ей ничего другого не оставалось.

Я спустился, вышел во двор и стал кружить по нашему газону, сунув руки в карманы брюк. Между моей тягой к складным прелестям Эви и ужасом перед ее кровожадным родителем роился сонм других, менее насущных соображений. Генри мог где-нибудь проболтаться; хотя я почему-то необъяснимо и незбылемо верил в Генри. Капитан Уилмот мог проболтаться. Роберт – а теперь, когда улеглось мое бешенство, я беспокоился за него, – может быть, всерьез покалечен. Собственное мое левое ухо до сих пор горело, и правый глаз, хоть не такой жуткий, как у Эви, все-таки здорово заплыл. И немного слезился. И еще была Имоджен. Я с разгону запнулся на траве, уставясь на запоздалую пчелу, увлекшуюся колоском шпорника. Я изумленно сообразил, что часами не вспоминал про Имоджен. Она вернулась в мои мысли, вызвав привычное сжатие сердца, но на сей раз я сам не мог объяснить своих чувств. Она как-то даже подхлестывала мою погоню за Эви. Тут было отчего прийти в отчаяние. Как-то так получалось – я даже тогда понимал всю свою глупость, – что, раз она выходит замуж, я обязан тягаться с нею и с ним. Я снова принялся кружить по газону. На душе у меня было гадко.

Наутро, когда брился, я увидел, как Роберт выбежал в сад, чтоб последний раз перед Крануэллом сразиться со своей грушей. Мне стало не по себе. Наша драка была типичной дракой между мальчиком его сорта и мальчиком моего сорта из подростковой литературы. Он был стройный и собранный. Я – дюжий раззява. Одним словом, жлоб. И я победил. Причем именно так, как положено побеждать жлобу – единственным дозволенным жлобу способом, – жульническим. Заехал ему коленкой по яйцам. И бесполезно было себя уговаривать, что это вышло случайно. Я же знал, что, когда он жалко согнулся надвое, я почувствовал черную злобу, гнусную радость и, конечно, намеренно съездил ему по носу кулаком. На душе у меня стало совсем уже гадко. Он там, внизу, гибко и стройно выплясывал вокруг безответной груши. А на носу был пластырь и на коленке. А я коварный, расчетливый, произношение у меня не то, и машину я водить не умею. Увидев, что он закончил свои упражнения и собрался бежать в дом, я сунул в окно недобритую физиономию и помахал бритвой.

– Привет, Роберт! Отчаливаешь. Счастливо тебе!

Роберт меня отшил. Задрал свой профиль герцога Веллингтона и понес вместе с пластырем в дом. Я не смеялся. Я был раздавлен, был изничтожен.

Нелегко оказалось, как я ни изворачивался, как ни ловчил, повстречать и нашего общего друга, юную Бабакумб. Она была на крючке. Заточена, обложена, прикована. Каждый день сержант Бабакумб доставлял ее на работу и стоял, глядя, как она исчезает за дверью, и далее шел расставлять стулья в ратуше или укладывать их спать кверху ножками. Или вынимать мелочь из автоматов общественных уборных. Или поднимать государственный флаг. Или трясти медным колокольцем, возвещая карточное состязание в Рабочем клубе или праздник на церковном дворе. Забирала ее миссис Бабакумб. Миссис Бабакумб всегда излучала приветливость и радушие, неукротимые, хоть и редко встречавшие отклик. Она была маленькая, как воробушек, чистенькая, как Эви, только уже усохшая. Она двигалась быстро, задрав подбородок, то и дело кланяясь встречным, улыбаясь, вертя головой, метя своим любезным поклоном через Главную улицу в кого-то совершенно вне ее социальной сферы. Естественно, этих ее поклонов не замечали, их даже не обсуждали. Потому что никто не мог с уверенностью сказать, то ли миссис Бабакумб спятила и сочла, что имеет на них право, то ли она заявила из некой баснословной страны, где городской глашатай и начальник полиции дружат домами. Первое более вероятно. Вы могли, между прочим, увидеть, как она, воробушком почирикав у продовольственного прилавка, мило потом улыбалась (легонько склонив голову) леди Гамильтон-Смит, по всей видимости не подозревавшей о ее существовании. Она была, можно сказать, единственная у нас католичка, миссис Бабакумб, – если не считать Эви, – и это, принимая во внимание прочие странности, делало ее особенно неудобоваримой. Поскольку со сбродом из Бакалейного тупика она не желала якшаться, а остальные с ней сами не разговаривали, было неясно, зачем ей эти кивки и улыбки. Правда, после эпизода с крестиком на несколько дней они прекратились. Сержант Бабакумб доставлял Эви как посылку, а маленькая миссис Бабакумб ее забирала, сморщенная и мрачная.

Через неделю Эви зашла в аптеку, жалуясь на головную боль, и папа чем-то таким ее попользовал. В тот же вечер, когда миссис Бабакумб пришла к ступеням дома Юэнов, обе дамы удалились, щебеча и смеясь, как две подружки. Перемена существенная – и дальше больше. Эви спустили с крючка, с нее сняли епитимью. Еще через несколько дней около девяти Эви наблюдалась одна по ту сторону Площади. В легнем ситцевом платье, без чулок, в белых носках и сандалиях. Она плыла, запыхавшись, вывернув губы, околдовывая улыбкой вечерний воздух, блистая гривой, ярко сияя теперь уж обоими глазами, переступая ножками ниже колен. Все возвратилось на круги своя. И таинственно, как светляк, она излучала сияние и соблазн, почти зримые, как лучи света. Когда она поравнялась с эркером мисс Долиш против нашего флигеля, шажки замедлились, как бы сошли на нет. И мне вовсе не почудилось, что с такого расстояния я углядел сумасшедшую дрожь черных кисточек и блеск стрельнувшего в мою сторону глаза. Как по команде хозяина, я бросился вниз и шмыгнул за дверь.

Эви проплыла мимо ратуши по Главной улице. Народу почти не было, только девица в кассе кино и полицейский. Соблюдая табу, я следовал за нею на расстоянии пятидесяти метров. Это было нелегко, потому что она, обладая, по-видимому, меньшей социальной чуткостью, плелась черепашным шагом. Мне пришлось изучать витрины шорника, табачника и менее убедительные обольщения галантереи для сохранения должной дистанции. Она дошла до Старого моста и остановилась. В борьбе между зовом приличий и зовом соблазна победа была предрешена. К тому же и солнце село, близилась ночь, под аркой моста уже хозяйничала темнота. Над мостом густели сумерки. Эви расположилась наверху, налегши грудью на каменный парапет. Она устремила взор в ту сторону, где спряталось солнце. Я к ней поднялся. Мы удивились при виде друг друга.

– Как твой глаз, Эви?

– Порядок. Полный порядок. А у тебя?

О собственных ранах я и забыл. Я нажал пальцем на правое глазное яблоко.

– Вроде ничего.

– Бобби не пишет?

Я сперва просто опешил.

– Нет. С чего бы?

Эви некоторое время молчала. Откинула голову назад и искоса мне улыбнулась.

– У тебя навалом свободного времени, да, Олли?

– Ну, в школу ходить не надо.

Трудно было оторвать от нее взгляд, потому что она не только излучала свой собственный свет, от нее шел запах лугов и того хорошенького чего-то в кружавчиках, и девичий смех октавой выше мужского. Тем не менее мне удалось отвести глаза, и тут же по всей Главной улице задрожали, выдираясь из тьмы, фонари. Мы не были невидимками.

– Пройдемся?

– Куда это?

– На гору можно.

– Папка мне не велит в лес ходить. Когда темно.

Пара брюк, глубоко зарывшихся в грязь, мелькнула в моем мозгу и потом устроилась на ветке сушиться.

– Но ведь...

Это было невозможно, непереносимо. Она была сама уверенность, вежливость, спокойствие. Осадок заката мерцал в одном глазу, газовые фонари в другом. Я сделал шаг, второй, потом остановился, оглянулся.

– Ладно, Эви, пошли, можно ведь и по берегу.

Она тряхнула головой, грива взметнулась, опала.

– Не-а. Папка не велит.

Я сообразил сразу, долго не пришлось додумываться. Эта дорога вела через поля к Хоттону, где были конюшни. Сержанту Бабакумбу виделись, наверно, конюхи, похотливо затаившиеся под каждым кустом; и он, очень возможно, не ошибался.

– Ну тогда... Давай в другую сторону, к Пилликоку.

Эви сомкнула рот, снова тряхнула головой, улыбнулась таинственно.

– Но почему?

Никакого ответа; только взгляд, улыбка, качание головой. И при каждом встряхивании волос этот ароматный посул. Я в смятении гадал, какова на сей раз причина географического ограничения. Заметнее прочего в той стороне была модная закрытая школа, очень и очень сама по себе, хоть всего ничего от нас. Может, сержант Бабакумб и насчет нее имел свои соображения? «Гляди, дочка, всыплю тебе, если с кем из этих фраеров накрою, знаю я их, козлов, как облупленных!» Так или иначе, местность вокруг нас сомкнулась. На юге – эротические леса, на западе – эти конюшни, на востоке – этот колледж, а на севере – лысая неподступность откоса. И так мы стояли, парочкой, открытые взглядам, на гребне Старого моста.

Словно осчастливленная этим запретом, Эви замурлыкала, покачивая в такт головой:

– Тир-лир-лям-па-пам! Тир-лир-лям-па-пам!

Кровь мне кинулась в голову. Я что-то буркнул, сам не знаю что. Захотелось схватить дубинку, топор. Эви смотрела на меня с удивлением.

– Тебе они чего – не нравятся?

– Кто?

– Ну эти, по радио? Савойские сиротки. Я их всю дорогу слушаю.

Я уже весь трясся от злости.

– Ненавижу! Ненавижу! Пошлость, дешевка...

Мы оба молчали, пока ярость моя не улеглась, оставя по себе мелкую дрожь. Когда Эви наконец заговорила, голос был холодный, надменный.

– Ах, ну, значит, я извиняюсь!

Было ясно, что меня повело не туда. Но пока я раздумывал, что делать дальше, Эви осияла меня улыбкой.

– Вот ты вчера играл, Олли, ой, мне так понравилось. Ну, на пианино.

– Шопен. Этюд до минор, опус двадцать пятый, номер двенадцатый.

– У тебя и громко получается!

– Ну, не знаю...

Я призадумался. Когда я разучивал пассажи «Аппассионаты» шестнадцатыми или октавы в левой руке из ля-бемоль-мажорного полонеза, папа, если он оставил дверь аптеки открытой, иногда тихонько ее прикрывал. Папа сам был очень музыкален и не мог себе позволить рассеиваться, когда работа требовала от него особенной сосредоточенности.

– Я и не знал, что ты проходила мимо нашего дома, Эви!

– Я в приемной сидела, чудик!

Я немного удивился. Как-никак дверь приемной, коридор, дверь в аптеку, еще коридор и еще дверь отделяли приемную от наших желтеющих клавиш. Очевидно, у меня и правда выходило громко.

– Это я так. Для себя.

– Я с утреннего приема шла – ты играл. В вечер иду – опять играешь! Видно, жуть как музыку любишь. Долго играешь, Олли?

– Люблю. Целый день.

– Хорошо-то как! И для меня поиграешь, да? Доктору Юэну тоже нравится.

– Правда?

– Вчера пришел в приемную, как миссис Минайвер ушла, и говорит, что опять он играет.

– Больше ничего не сказал?

– Вроде ничего. Только хорошо, говорит, что ты скоро в Оксфорд уедешь.

Я был глубоко тронут. Я и не знал, что доктор Юэн тоже музыкален. Я разучивал этот этюд Шопена, потому что его разбитые аккорды, нотный шквал в точности выражали и содержали собственную мою страсть к Имоджен, безнадежную, сушащую рот; но технические трудности были ужасны и меня изводили. Я объяснил:

– Там есть нота – соль чистое – мне надо на лету в него попасть вот этим пальцем, видишь...

Я поднес правый указательный палец к ее лицу, и она ухватила его обеими руками, дернула.

– Ой! Не надо! Больно же!

Эви громко хохотала, дергала и дергала мой палец. Лед вдруг тронулся, низвергнулся водопадом. С криками, хихиканьем мы боролись в газовом мерцании сумерек. Станным, непонятным для меня образом из дичи я превратился в ловца. Эви вырывалась.

– Нет, нет, Олли! Не надо...

Она была притиснута к моей груди. И уже не боролась.

– Пусти. Увидят.

Я схватил ее за руку и поволок с моста вниз, туда, где наполовину выступал в воду пирс. Скрылись газовые фонари. Она уже не смеялась, меня снова затрясло. Свет исходил теперь только от Эви, три сливы чернели совсем рядом, но их уже не занавешивали мокрые волосы и дождевые струи, и был настойчив этот сводящий с ума ее запах. Я вжимался в нее, все во мне напряглось, все горело. Я наполучал вдоволь поцелуев. Больше даже, чем мне бы надо. Кроме них я не получил ничего.

Ударили церковные часы. Из девушки, чьих сил едва хватало, чтобы защититься от атаки, если та не подкреплена нежной и кроткой мольбой, Эви разом преобразилась в силачку, рожденную рубить дрова и таскать уголь. У меня еще кружилась голова, я был не готов к такому обороту и, отброшенный обеими ее руками, отлетел на берег.

– Вот! И мамка говорила...

Она вскарабкалась на дорогу. Я вскарабкался за ней, разбрасывая комья грязи. Я догнал ее на мосту.

– Эви... Давай сюда придем завтра вечером. Или, может, пойдем погуляем и вообще, да?

Она продолжала свое продвижение в газовом свете.

– Что я – запрещу тебе меня встречать? Мы живем в свободной стране.

– Значит, завтра.

– Дело хозяйское.

Она двигалась по Главной улице. Слегка оправясь, я вспомнил о ближних, о том, что мы входим в сферу их тонких влияний. Ближе к середине улицы, над лавкой – снимал комнату, что ли – жил один мой учитель. У ратуши начиналась область, просматриваемая моими родителями. За ратушей была наша Площадь, где они, вполне возможно, высматривали меня из окна. Я сбавил шаг. Скорость Эви замедлилась. Положение тупиковое. Мне остался единственный способ не быть застуканным в ее обществе.

– Ладно, – сказал я и остановился. – Ладно. До завтра.

Эви глянула через плечо.

– А ты не домой?

– Кто? Я? Я вот погулять хотел.

Эви улыбнулась своей косвенной улыбкой.

– Ну, тогда пока.

Я живо пошел к мосту, наверх, потом пригнулся, оглянулся под удобным углом. Платице и носочки взошли по улице и скрылись между ратушей и эркером мисс Долиш. Я пошел домой обходным путем и вошел на Площадь с северо-запада. Но в нашем флигеле было темно, родители легли. Я решил немного поиграть перед сном и

вернулся к своему этюду. Он теперь содержал не только Имоджен, но и Эви – любовный крах по всем статьям.

Мама сунула голову в дверь, нежно мне улыбнулась:

– Олли, детка. Ужа-асно поздно.

* * *

На другой день правый указательный палец у меня болел, как зашибленный. Хочешь не хочешь, пришлось до завтра отложить музыку и пойти гулять. Я гулял долго, пообедал бутербродами и вернулся к вечеру. Времени до моей охоты на Эви оставалось немного, и я его употребил на то, чтобы выставить в самом выгодном свете свои скромные исходные данные. Я не мог соответствовать профилю Роберта, лишним семи сантиметрам роста и мопеду. Но я мог удалить всякий намек на щетину с уже выбритых утром щек и посоперничать с ароматом Эви посредством брильянтина. Я не пытался себя обманывать относительно своей внешности, но я слышал, что девушкам на нашу внешность плевать. Мне очень хотелось бы на это надеяться, потому что, осмотрев в зеркале свое лицо, я пришел к печальному выводу, что оно не из тех, в какие лично я бы влюбился. В нем абсолютно не было тонкости. Я попробовал победно улыбнуться и в результате перекосялся от омерзения.

– Сколько сегодня молочка, мэм? Спасибочки, мэм, да, мэм, нет, мэм, спасибочки, мэм, здрасте, мэм.

Я сам себе показал язык,

– Ето йя-а-а!

Сомнений не было. Мне оставалось быть хитрым, уклончивым, дипломатичным – одним словом, умным. Иначе я мог завоевать девушку только с помощью дубинки. Эви – девушка, да еще какая! Как она меня яростно отшвырнула на три метра, как ловко отстраняла мои жадные лапанья, как нежно, робко отводила мои руки. Сомнительно даже, что и дубинка бы помогла. Но, с другой стороны, канувшая на дно пара брюк не допускала разночтений. Эви была доступна.

– Ето йя-а-а!

Она прошла по южной стороне Площади, на сей раз не глянув на наш дом, и, наученный горьким опытом, я решил немного повременить. Она уже сидела на парапетном камне моста, когда я к ней поднялся. Я не знал, с чего начать, не выработал никакой блестящей стратегии. Думал было изобразить интерес к птицам в надежде, что она согласится вместе со мной наблюдать, как наши меньшие братья клюют червячков или что там еще они делают. Но я не умел отличить сову от жаворонка и не знал, как про них говорить. Собирать полевые цветы, разыскивать следы древних развалин, выкапывать редкие минералы? Нет! Я ничего не мог придумать. И если она, как стяг, поднимет родительский запрет, мне придется толочься на мосту или на невозможном пути от него к Бакалейному тупику. Тем не менее, мелко приплясывая, я прошелся перед ней и встал, держа за оба конца поперек живота свою трость.

– Привет, Эви!

Эви склонила голову к плечу и улыбнулась:

– Долго ты.

– Занят был.

– Занят? Ты!

Подтекст меня оскорбил.

– Я в себя прихожу. Я очень много работал.

– Пианино – это работа, по-твоему?

– Нет, конечно.

Она ничего не сказала, только все улыбалась. Я туманно гадал о том, что такое пианино; но пока я гадал, Эви начала мурлыкать. Ноты схлестнули меня, как всегда схлестывали ноты, я стал рыться в памяти.

– Доуленд [7]!

Эви громко расхохоталась, еще похорошела и расслаилась вся. Она пела:

– Мою овечку

Веди на речку,

Потом на луг, потом на луг,

Потом на луг!

– Да у тебя же отличный голос! Тебе бы...

– Ходила на уроки, ходила.

– К мисс Долиш? К Пружинке?

– Ла-ла-ла-ла-ла-ла!

И мы вместе хохотали в газовом свете, вспоминая нашу мрачную училку и нудные уроки.

– Ла-ла-ла-ла-ла-ла!

– Пела бы ты почаще!

– И не Доуленда, а другого кого, да, мистер Умник?

– Тебе бы дальше учиться, Эви.

– А я чего? Я ничего. Вот играл бы кто для меня...

– У тебя нет пианино?

Она тряхнула головой. Я посмотрел мимо этой головы, на реку, но вместо реки в глазах щелкнула моментальная фотография Бакалейного тупика. Дом сержанта Бабакумба стоял против дома капитана Уилмота – оба на порядок приличней прочих. За ними, неуклонно становясь все приземистей и невзрачней, все грязнее, ветшая, дома сбегали к развалинам мельницы. На дороге дрались и валялись в грязи ребяташки. Мальчишки одевались в униформу Бедного Мальчика: отцовские подрубленные штаны, отцовская отставная рубашка. Все почти босиком. Я вдруг сообразил, что именно газеты называют трущобами. Если пианино нет у мистера Бабакумба, его, конечно, нет там ни у кого.

– А капитан Уилмот? Как он?

Снова она тряхнула головой.

– У него граммофон и радио. Раньше, когда я еще маленькая была, звал, бывало, послушать.

– Очень мило.

– Лимонаду стакан, булочка. Музыка все классическая. У него и машинка пишущая есть.

Мы помолчали.

– Так что я не стала дальше петь учиться, – наконец сказала Эви. – А на машинке учиться так и так надо...

Я понял. Печально кивнул. В самом деле, досадно.

– Ты сегодня не играл, да, Олли?

Я засмеялся и поднял свой пострадавший палец. Она схватила его белыми пальчиками, стала осматривать. И все повторилось с точностью репринта – смешки, хохот, превращение из дичи в ловца, рывок с моста вниз, в темноту, полупораженье лицом к лицу, да, нет, не надо, да, нельзя, поцелуй, борьба, запах, три сливы, мерцание кожи, трясучка...

– Я тебе не нравлюсь?

– Ну почему... нет, Олли, не надо...

– Ох, ну, Эви, Эви...

– Не надо – это нехорошо!

Я без нее знал и был совершенно согласен, что это нехорошо; знал и то, что для меня лично быть хорошим сейчас – не главная цель.

– Пусти, Олли, а ну пусти!

Снова меня отбросили на три метра. На сей раз я одной ногой угодил в реку. А когда выкарабкался, Эви смотрела в небо.

– Ты слушай!

Что-то глухо урчало меж звездами. Она взбежала на мост, застыла. Красный огонек сорвавшейся красной звездой всплывал на оглоблю Большой Медведицы.

– Прямо над нами сейчас полетит.

– Королевский воздушный флот.

Рядом с красным огоньком прорезался зеленый.

– Вдруг это Бобби?

– Бобби?

Эви смотрела вверх, открыв рот, все больше запрокидывая голову. Самолет проступил темной тенью между огнями.

– Он сказал, что сразу прилечу, как смогу. Сказал, над Стилборном буду фигуры показывать. Сказал, если место найдется, сяду и тебя возьму.

– Жди!

– Ой, смотри. Он сюда... Нет...

Она поворачивалась на пятках, когда самолет пролетал мимо, и постепенно опускала голову, пока темная тень не канула в лесу.

– Так его сразу и отпустили. Он всего-то там неделю...

Она топнула ногой.

– Хорошо вам, мальчишкам!

– Я тоже научусь летать, когда буду в Оксфорде. Наверно. В общем-то я собирался.

Она рывком повернулась ко мне.

– Ой как летать охота! Прямо больше всего! И танцевать! Ну и петь! И ездить везде. Все-все делать охота!

Я ухмыльнулся при мысли о том, как Эви делает все-все. Потом вспомнил ту пару брюк и ту единственную вещь, которую мне хотелось, чтоб Эви делала – или мне позволила делать, – и перестал ухмыляться.

– Пошли вниз.

Она тряхнула головой.

– Не-а. Домой пойду.

И снова она заскользила туда, к фонарной луке. Я поплелся за нею, в душе кляня Королевский воздушный флот и, в частности, последнего его новобранца. С каждым фонарем я все острее ощущал воздействие среды и замедлял шаг. Эви тоже его замедляла.

– Ну ладно, пока. До завтра, Эви.

Она пошла дальше, бросив мне улыбку через плечо. Оглянулась, подняла левую руку, помахала расслабленной пятерней. Я сосредоточенно изучал черты Дугласа Фербенкса перед кино. Когда она скрылась на Площади, я тоже пошел домой, держась по другую сторону ратуши и не выходя из ее тени, пока не убедился, что на Площади все спокойно.

Когда я вошел, мама чинила мои трусы. Сверкнула на меня очками, когда я садился, снова склонила седеющую голову над работой.

– Бобби приехал, знаешь?

– Бобби Юэн?

– На выходные.

– Господи – не на самолете?

Мама рассмеялась, поправила блеснувшим наперстком очки.

– Нет, конечно. Миссис Юэн ездила на машине в Барчестер [8] его поезд встречать.

Папа выбивал трубку о каминную решетку.

– Наверно, первым классом. Офицерам положено.

– Какой он офицер, папа! Кадет какой-то.

– А... Ну... Тогда не знаю.

Я встал, заметив, как мама глянула на меня и отвела взгляд. Метнулся в ванную, осмотрел рот, но следов помады не обнаружил. Я стоял перед зеркалом и укреплялся в прежней оценке своего лица. Мало того, что не тонкое. Тоскливое и злое. Я старался представить себе, как в точности выглядит голая девушка – как выглядит Эви. Определенной картины не вырисовывалось, но я предполагал, что она выглядит очень ничего. Вдруг я спохватился, что в том же виде силюсь представить себе Имоджен Грантли. И ужаснулся, что – пусть невольно – поставил их на одну доску. Мне вообще не полагалось обо всем этом думать, об этом мечтать. В мои восемнадцать лет. Крикет, футбол, музыка, прогулки, химия – вот что мне полагалось. Имоджен выигрывала в несказанном, нежном соревновании. Я прижался к зеркалу лбом, закрыл глаза и так долго-долго стоял. Ни о чем не думая. Растворившись в чувствах.

Тем не менее с утра я уже снова отчаянно ломал себе голову. Я с дикой бравурностью терзал клавиатуру, твердо решившись затащить Эви куда-нибудь, где можно будет осуществить мое порочное намерение. Ну да, порочное. Да, я порочный. Я поклялся, что буду непреклонен, и мне полегчало. После чая я пошел в лес и обрыскал опушку в поисках укромного местечка для покоя и усад. Мест таких нашлось предостаточно. И от каждого у меня чуть подскакивала температура, так что в конце концов я задышался и весь вспотел. Я снова вышел на дорогу, чтоб спуститься с горки и поджидать ее на мосту, и тут услышал грохот. Пронесся веллингтоновский профиль. Мелькнула сидящая сзади раскорякой Эви, белые кружавчики, всхлестнувшие на ветру, блеск глаз, восторженно разинутый рот. Все исчезло, лес сомкнулся за ними.

Погодя я спустился с горки, перешел Старый мост, вышел на Главную улицу. Пришел домой. Мама подняла глаза от латаемых отцовских подштанников.

– Что-то сегодня ты рано, Олли?

Я кивнул и сел за пианино. Скоро мама тихонько вышла, затворив за собой дверь. Я играл для пустой комнаты, пустой приемной, пустой Площади и пустого города. Я снова зашиб себе палец.

Утром, войдя в ванную, я сразу выглянул в окно, ища глазами Роберта, чтобы отшить его самым подчеркнутым образом, когда он меня заприметит. Но его не было. В полной неподвижности повисла груша, мопед стоял на своем месте в углу. Он был весь белый от мела, и даже на таком расстоянии я видел глубокие вмятины на металле. И погнутый руль. Сердце у меня зашло. Но я немного огорчился. Не из-за Роберта. Из-за себя. Мне самому стала противна моя радость при виде покалеченного мопеда. Я даже вслух проговорил, чтоб вернуть себя на приличные человеческие позиции:

– Бедный Роберт! Надеюсь, он не пострадал...

Потом я вспомнил трепет белых кружавчиков, голую коленку и совершенно запутался в собственных чувствах. Поскорей побрился и сбежал вниз. Завтрак ждал меня на столе, хотя папа уже ушел в аптеку. Услышав мои шаги, мама вошла меня покормить.

– Видала мопед Роберта?

Мама поставила на стол горячую тарелку и вытирала руки чайным полотенцем.

– Слышала. Я не сомневалась, что рано или поздно этим кончится. Надо бы запретить молодым людям гонять по дорогам на мотоциклах.

– Он не расшибся?

– Конечно, расшибся. А ты думал?

– Что-то серьезное?

– Пока неизвестно. В больницу увезли.

Я подлил себе острого соуса.

– Больше никто не пострадал?

Мама молчала. Мне в таких случаях всегда делалось не по себе. Она на пять метров под землей видела, моя мама. Я в смятении себя уговаривал, что под мостом ведь темно. И почему бы мне, собственно, случайно не встретиться на мосту с Эви, не остановиться с ней поболтать. В конце концов, она почти в нашем доме работает.

– Больше никто не пострадал, а, мама?

– И не только бы мотоциклы я запретила...

Она убирала остатки папиного завтрака.

– Больше никто. А жаль!

Я исподлобья разглядывал маму, когда она уходила на кухню. Мама, безусловно, сегодня встала с левой ноги. Это с ней случалось нечасто, но уж когда случалось, лучше было не подвергать себя риску. Более точных сведений сегодня из нее все равно не вытянуть, какую дипломатию в ход ни пускай. Папу тоже не имело смысла расспрашивать. Верней, почему не спросить, но он наверняка уже все позабыл. Так что оставалась сама Эви. И вот после завтрака я прошел в аптеку, где папа работал и молчал, как всегда. В приемной резво стрекотала машинка. Значит, правда, с Эви все в порядке. Не настолько расшиблась, чтобы работу пропускать, достаточно здорова, чтоб явиться. Вдруг меня схлестнула радость. Чего не смог сделать с Робертом мой кулак, то он сам с собой сделал, без всякой моей помощи..

– Пап, может, тебе чем-то помочь?

Папа рывком повернул ко мне свою тяжелую голову. За толстыми стеклами метнулось изумление. Он дернул себя за седой ус, быстро тряхнул головой, снова отвернулся. Интуиция мне подсказывала, что сегодня у мамы скверное настроение с самого утра. Сев за наше пианино, я старался одновременно не повредить большой палец, не разозлить маму и напомнить о своем существовании Эви. Я побрел в город, видел, как миссис Бабакумб клюнула сержанта Бабакумба возле ратуши, переждал, чтоб она ушла. Когда я в свою очередь поравнялся с сержантом, он поднял взгляд от выбиваемого коврика и мне кивнул. Сомнений быть не могло. Никогда раньше не бывало такого, а тут он кивнул. Я слегка дернул головой, что могло истолковываться и как ответный приветственный жест, и как отмахивание от мухи, и прошел мимо. Я долго стоял в изумлении у букинистического прилавка, изучая его содержимое. Я не знал, что и думать. Я читал названия, какие еще можно было разобрать на потрепанных корешках, какую-то книжку вытащил и полистал. Я ее не видел. Я видел вместо нее поразительный кивок сержанта Бабакумба – будто я ему брат-солдат или собутыльник. Я положил

книгу на прилавок, прошел мимо «Лучшей чайной», где шесть кумушек ели печенье, пили кофе и сплетничали, мимо Дугласа Фербенкса перед бывшей товарной биржей и тут остановился, оглядывая с хвоста Главной улицы Старый мост. Можно было успокоиться. С Главной улицы, как ни вглядывайся, нельзя углядеть никого – никакую парочку – у пирса за Старым мостом. Слава тебе, Господи.

На другой стороне Главной улицы показалась миссис Бабакумб с кошелкой, набитой свертками. В своем дежурном сером костюме, в своей серой шляпке. Гигантская фальшивая жемчужина свисала с левого уха. Шла блеклая, улыбчивая, расточая безответные, безадресные кивки. Вот увидела меня. Не замедлила шага. Но склонила голову набок, сверкнула вставной челюстью. Этот кивок, этот оскал она несла добрых пять метров, пока ее не заслонил верзила у фонаря.

Меня вдруг как ошпарило. Я понял в ужасе, чем чревата моя похоть. Я понял и кое-что еще. Ни у сержанта Бабакумба, ни у его супруги не могло быть вспышек маминой дьявольской проницательности. Это все штучки самой Эви. Она меня использовала в качестве громоотвода. С механичностью и проворством, никогда еще мне не дававшимися на пианино, я пробежал в уме всю гамму людских возможностей. Эви в жизни не заполучить Роберта насовсем. Ей его не зацапать. Она не станет и пробовать. Не то напоролась бы на гранитную стену. Но раз ей нравится его мопед и она за свои вылазки платит – ведь платит! – ей нужны оправдания, почему опоздала, почему поздно пришла, почему... В моем случае стена из того же гранита, что и у Юэнов, но не такая высокая. Отнюдь не такая. Даже не такая высокая, например, как стена, отделяющая самое Эви от ошивающихся возле ратуши безработных голодранцев. Для Эви я громоотвод. Для ее родителей – завидный жених. Ох, как небось эти белые пальчики, этот воркующий голосок умирляли воинственного сержанта, умасливали, убеждали, что у нас дело идет к помолвке. Я откинул волосы с глаз и тяжело вздохнул. Кроме посягательств ее родителей, меня еще терзали догадки, как именно использовала меня Эви. Может, это я задерживаю ее после двенадцати? Может, это я увел машину Пружинки? Так-так, что еще? Чего она еще понавывязывала, рукодельница? Я не сомневался, что в случае надобности она соврет – недорого возьмет. Я и сам могу соврать в случае надобности. И тут уж она нагородит такого! Мне представилось кошмарное видение: сержант Бабакумб у наших дверей тискает треуголку и выпытывает у папы, каковы мои намерения. Я-то знал, каковы мои намерения, и Эви знала. Для семейной жизни они были слишком просты. Я пошел домой, обогнув ратушу с другой стороны, и стал очень тихо играть на пианино.

* * *

Относительно Роберта в тот вечер ходили самые разноречивые слухи. Одно было точно – он долго пробудет в больнице. Я загодя пошел на мост, рассчитав, что, если меня там будут видеть почаще, никто не заметит моих свиданий с Эви, во всяком случае не станет о них трепаться. Снова уже темнело, когда она появилась на улице. И подошла ко мне с жалкой тенью своей улыбки.

– Совсем не расшиблась?

Улыбка просветлела, но чуть покосилась.

– Ты про чего это, Олли? Я не пойму.

– Про вчерашнее.

– Да я там...

– Я тебя видел, Эви. На мопеде.

Она вдруг дернулась, втянула голову в плечи.

– Что с тобой?

– Не знаю, озябла, наверно. Олли...

– Ну?

Она кинула взглядом вдоль улицы.

– Ты ведь не скажешь, правда?

– Зачем я буду говорить?

Она улыбнулась нежно. Глубоко вздохнула.

– Спасибо.

Я саркастически расхохотался.

– Как же! Ты ведь была со мной на мосту, да? Мы беседовали о музыке, о чем же еще! И потом гуляли по бережку, рыбок в банку ловили. Ты случайно своей матери полную банку рыбок не показывала, нет?

– Я сказала только...

– Ты сказала, что я возил тебя в Бамстед. Сказала, что я увел Пружинкину машину! Я тебя знаю! – Я смотрел ей в лицо, стараясь побольней уязвить. Это хоть было в моей власти. – Интересно, что еще ты сказала? Сколько нагородила вранья! Вытащила меня из постели среди ночи – такой милый мальчик этот Оливер, жаль, у него нет мопеда!

– Все совсем не так, Олли. Мне было надо – надо! Как ты не поймешь!

– Очень даже пойму! Да ты просто...

Я оглядывал реку, дорогу, мутную темень леса на горе. Ни с того ни с сего мне вспомнилась мелодия из радиопередачи, и я пропел, проревел:

– Ты как твои Савойские сиротки!

Эви разразилась хихиканьем, от которого меня мороз пробрал по коже, и я смолк.

– Ой, ну ты даешь, Олли! Смешной!

Она хихикала, она хохотала, давилась. Она перегнулась над парапетом, цеплялась за меня обеими руками, выгнув шею. Я чувствовал, как она дрожит.

– Смешной! Смешной!

– Хватит, Эви. Господи! Да замолчишь ты или нет!

Наконец она умолкла. Подтянулась, села торчком на парапет. Ароматно качнула гривой. Вынула что-то белое из-под браслетика под янтарь на левой руке, обмахнула лицо там и сям, сунула белый лоскутик обратно. Я против воли растрогался. И замаскировал этот свой недостаток мужественности, стараясь говорить как можно грубей:

– А ты ловко отделалась! И как это тебя совсем не помяло?

– Какая разница... А, да ладно – не было меня с ним.

– Так какого же...

– Я его подбила. На слабо взяла. Он говорит: «Эта штука со мной аж на дерево залазает». Я и подбила... Я и сама хотела... Там яма меловая...

– Где это?

– Я и сама хотела, вот те крест. А он: «Нет уж, юная Бабакумб, только без тебя. Прыгай», – говорит. Его прям прихлопнуло мопедом.

Что-то урчало под Большой Медведицей. Я поднял глаза, увидел красный наплывающий огонек. Ежедневные, значит, полеты какие-то, какие-то у них там ученья. Эви не поднимала глаз. Она разглядывала свои сандалии. Когда она заговорила, голос, странно хриплый, шел как из бочки, шел из самых глубин Бакалейного тупика.

– Может, он теперь калекой будет.

Самолет проурчал прочь, медленно падал, тонул за деревьями. Эви откашлялась.

– На всю, может, жисть.

Потом мы оба молчали, Эви – разглядывая дорогу между моими ногами, я – переваривая новость, соответственно своей природе. Конечно, я был должным образом потрясен. Но, с другой стороны, я чуть-чуть радовался по-стилборновски задаче ближнего.

Она выпрямилась на парапете, улыбнулась мне.

– Ты сегодня не играл, да, Олли?

– Почему, играл. Только тихо.

Я поднял к ней свой больной палец в знак доказательства и в качестве приглашения. Но она только глянула и сразу отвела глаза. Каким-то непостижимым образом она пресекла свое излучение. Так обрывок фильма прокручивают назад: пламя втягивается, восстанавливает обугленную бумагу и потом исчезает, не оставя по себе ничего, кроме скуки. Даже газовый свет в ее правом глазу потускнел и почти не дрожал. Я сразу это почувствовал, но оптимистически постарался отринуть.

– Ладно, Эви! Пошли вниз.

Она качнула головой.

– Идем, юная Бабакумб!

Вспыхнул газовый фонарь.

– Не зови меня так!

Она вскочила на ноги.

– А Роберту можно?

– Ему все можно!

– Спокойно, спокойно!

Она хотела что-то сказать, передумала. Вывернула шею и стала отряхивать со своего зада мнимую пыль. Я вспыхнул, как газовый фонарь.

– Тогда интересно, зачем ты на мост пришла?

Она перестала отряхиваться и смотрела на меня, вытаращив глаза, разинув рот.

– Зачем? А куда мне было идти-то?

Обтерла ладони одну о другую, бегло улыбнулась, отвернулась, пошла в сторону улицы.

– Эви...

Она не ответила, она шла дальше. В конце моста, там, где начиналась улица, глянула через левое плечо, подняла руку, помахала расслабленной пятерней. Я стоял, держал тросточку поперек живота и смотрел. Снова шла она своей походкой – местная достопримечательность, – не шевеля ничем, кроме голеней, по незримой черте, ежедневно патрулируемой сержантом Бабакумбом или его супругой. Шла от фонаря к фонарю, и, с новой моей порочной тугой, я так и видел, как головы нищих мужских подобию у каждой пивной поворачиваются ей вслед с немой обреченной жадностью. Пройдет метров пять, и только тогда несется вдогонку едкий, похотливый смешок. Нет, мне бы самому такого не вынести. А ей хоть бы хны. Я пробирался домой окольным путем, чтоб не идти сквозь этот строй.

* * *

На другое утро за мрачным бритьем меня вдруг осенила мысль, от которой замерла на щеке бритва. Там, в конюшне Юэнов, стоял мопед Роберта. Я быстро глянул и увидел, что его и не думали чинить. Я поскорей добрился и бросился вниз, к завтраку, уговаривая себя действовать осмотрительно и дипломатично. Потихоньку-полегоньку в нужном направлении повернуть разговор.

Я так спешил, что застал маму с папой еще за едой. Мама перестала есть и пошла за моим завтраком на кухню. Мне повезло.

– Мопед Роберта все в конюшне стоит, я смотрю.

– О?

– Да. Стоит.

Папа исподлобья глянул на меня сквозь толстые стекла.

– Самое подходящее место.

Я кивнул и подхватил мяч.

– Под дождичком не вымокнет.

– Ха-ха!

Мама вернулась и поставила мою тарелку на стол с некоторым грохотом, всегда предвещавшим дальнейшие сообщения.

– Не надейся, что тебе удастся кататься на этом мопеде, Оливер, или его купить!

У меня отвисла челюсть. Мама села.

– Помимо прочего, – сказал папа, – это нам не по карману.

– Да у меня...

– Они тебе пригодятся, – сказала мама. – Все до последнего.

– Если Роберт...

– Мне бы очень хотелось, чтоб ты прожевал еду, прежде чем говорить, – сказала мама. Она сглотнула. – И ведь он ему самому еще понадобится. Если отец, конечно, разрешит ему гонять, в чем я сомневаюсь. Юэн не такой идиот.

– Как он ему понадобится, если он калека?

– Калека! – вскрикнула мама. – Кто это тебе сказал?

– Множественные ушибы, – сказал папа, – и несколько ребер сломаны. Ничего, оправится.

– Я думал... я мопед видел, он же весь покореженный...

– Через недельку-другую, – сказал папа. – Нет, с юным Юэном все в порядке. Будет ему, олуху, хороший урок.

– Чего только не увидишь каждую неделю в этом «Стилборнском вестнике». А потом чаще всего опровергают. А-а! Кстати, вспомнила, папочка, Имоджен Грантли венчается в Барчестерском соборе.

– Будет большая помпа, – сказал папа, отодвигая тарелку. – Когда?

– Двадцать седьмого июля. Всего несколько недель остается. Но если у людей есть деньги...

– Чушь, – сказал папа. – Позерство.

– Вспомни, папочка, ее двоюродный дедушка был настоятель. И женился на урожденной Тоттерфилд. Да-а, интересно вот, кто будут подружки невесты?

– Определенно не я, – сказал папа. Сверкнул стеклами и встал. – Мне надо работать.

– Оливер, детка, скушай второе яичко!

– Выбрось ты из головы этот мопед, старина. Доживешь до моих лет – сам поймешь.

– Скушай.

– Оставь ты меня в покое!

– Не смей так разговаривать с матерью

– Оставь меня в покое! Оставь меня в покое! Я... Не хочу я его!

Папа сел и пристально посмотрел на меня.

– Все время у него эти перепады настроения, – сказала мама и посмотрела на него. Он ответил ей взглядом. Она со значением кивнула. – Я вообще не уверена, что это была хорошая идея.

Паутина родительской нежной заботы плелась над столом.

– Четкий распорядок, – сказал папа. – Вот что ему снова требуется.

– Ох, даже не знаю. У него всегда были эти перепады. Я такая же была.

– Четкий, спокойный распорядок. Ему бы лучше вернуться в школу на эти три недели или сколько там еще осталось.

– Не хочу! Я вам не школьник!

– Покажи-ка нам язык, старина.

– Господи, да что же это такое!

– Не смей так разговаривать с отцом!

– Я уехать хочу.

– Оливер!

– Да, хочу. Куда глаза глядят!

– Хорошо, – сказала мама ласково. – Ты же едешь в Оксфорд, правда? Всего через несколько недель...

– Буря в стакане воды, – хмуро сказал папа. – Немного прочистить мозги, вот что мальчику требуется...

– У него всегда были эти перепады. Даже у грудного.

Папа снова встал и побрел в аптеку. Дверь прихлопнула его бормотанье:

– Сейчас я ему принесу...

Я тоже встал. У меня тряслись ноги.

– Куда же ты, детка?

Я изо всех сил хлопнул дверью столовой. Я стоял, все еще трясясь, глядя на наше обшарпанное пианино, дряхлеющий рядом диск стула. Я со всего размаха стукнул левым кулаком по сияющей ореховой панели между двумя медными подсвечниками, и она треснула пополам.

– Оливер!

Я сражался с цепочкой, замками, задвижками входной двери.

– Оливер! Вернись! Мне надо с тобой поговорить! Только из-за того, что мы не можем купить тебе этот...

Я хлопнул входной дверью, услышал мгновенный отклик с церковной башни. Распахнул калитку и стоял на булыжниках возле газонной ограды. И увидел, как миссис Бабакумб мимо забора мисс Долиш проносит свою склоненную улыбку – ко мне.

Чуть-чуть пришел в себя я уже только на парапете Старого моста. В горле у меня мучительно пересохло, левая

рука выглядела боксерской перчаткой.

Я бесцельно таскался по городу. Я видел, очень издали, как Эви вышла после приема из дома Юэнов и шмыгнула в сторону Бакалейного тупика. И про себя усмехнулся. Но вот она пошла обратно, мимо дома священника, исчезла в проходе на Бакалейную у нас на задах. Все еще усмехаясь про себя, я сделал крюк, чтоб ее накрыть, но Бакалейная была пуста. Я ее обрыскивал без всякой надежды. Просто чтоб чем-то себя занять.

Власть условностей сильна даже в такой дыре, как Стилборн, и в последний раз я бывал на этой окраине, когда меня еще возили в детской колясочке. На пустыре, под откосом, стояла деревянная лачуга. Я с любопытством ее разглядывал, потому что еще не видывал ничего подобного. Это была католическая церковь, и объявление снаружи гласило, что месса совершается при всякой возможности. Несмотря на свою ярость, я улыбнулся. Католическая церковь до сих пор мне встречалась только на книжных страницах. Увидеть ее, так сказать, вживе было все равно что вдруг наткнуться на улице на динозавра. Я расхохотался. Из лачуги вышла Эви. Она держала в руке пыльную тряпку и принялась ее с силой вытряхивать.

– Привет, Эви!

Она оглянулась, увидела меня, задохнулась.

– Некогда мне.

Я язвительно расхохотался.

– Можно и подождать. Делать-то нечего.

– А ну уходи, Олли! А то...

– Что «а то»?

– Ничего.

И ушла внутрь. Я стоял, разглядывал объявление, резную фигуру у двери и усмехался. Усмешка прилипла к моему лицу.

Минут через двадцать Эви опять вышла, отряхивая руками подол. Она повязала голову своей шелковой косынкой. Пресловутый знакомый крестик болтался поверх ситцевого платица. Не обращая на меня внимания, она заперла за собой дверь и направилась в сторону Бакалейного тупика, будто я куст какой-нибудь, что ли.

– Мессу служила, да, Эви?

Она усмехнулась, не сбавляя шага.

– Тебе не понять.

– Тогда пошли погуляем.

– Нет.

– Ха! Мопеда у нас, естественно, нет!

– Я помогаю ему, как могу.

– Не можешь ты ему помочь! Ты кто? Сиделка?

Эви ничего не сказала, только загадочно усмехнулась. И сунула крестик под платье. Проследив его исчезновение, я вдруг набрался абсолютной, твердой решимости.

– Да тебе и не надо ему помогать. Он в порядке. Только ушибы и сломано несколько ребер.

Эви остановилась, повернулась, посмотрела на меня. Я тоже остановился.

– Да ты что, Олли? Поправляется, значит, он?

Я горестно думал, как все несправедливо. Роберт теперь герой, его обожают, а он палец о палец не ударил для этого. Эви смотрела на меня, сквозь меня, с небесно-блаженным лицом.

Все с той же своей решимостью я сказал:

– Ты бы лучше мне помогла.

Я глянул на заросшую кустами тропу, вихлявшую вверх по откосу. Повернулся к Эви, кивнул со значением.

– Да. Ему хорошо. Мне – нет.

– И он не будет...

– Мне – нет.

Эви двинулась в сторону дома. Я схватил ее запястье, как тогда сержант Бабакумб, дернул книзу, она пошатнулась, потом выпрямилась и посмотрела на меня.

– Мне – нет. Ты думаешь, ты можешь делать что хочешь, да? – Я повернул к началу подъема, волоча за собой Эви.

– Олли! Ты чего?

Я все ее волок. Кусты и низкие деревца сомкнулись вокруг. Я проволок ее по крутизне, не оглядываясь.

– Крошка Олли тебе уже не младенец. Крошка Олли теперь главный. И если крошка Бобби вылечится и начнет выступать, Олли свернет ему шею.

– Олли,пусти!

– А заодно и крошке Эви.

Она возмущенно хмыкнула и вцепилась свободной рукой в мои распухшие костяшки. Я дернулся, высвободился. Тропа суживалась, нас все тесней зажимали деревья. Эви расслабила и бессильно свесила руку в моей руке. И уже не упиралась, покорно плелась за мной. Я громко расхохотался.

– Давно бы так!

– Олли! Слушай! Сейчас я объясню!

Я ответил изысканно:

– Никаких объяснений не требуется, моя радость.

– Нет, я что хочу сказать, все не так, ты, это, послушай...

– Так, приехали.

Я оглядывал группку деревьев, почти не слушая продолжавшую говорить Эви. Выступ откоса скрывал нас от города. И под деревьями была густая трава, вся усеянная цветами. Я выдернул Эви из-за своей спины, – и теперь мы стояли лицом к лицу.

– Да ты не слушаешь!

Я обнял ее и сжал все с той же странной решимостью. Глаза у нее закрылись, откинулась голова. Я нагнулся и ее поцеловал. Мгновенье она сопротивлялась, но только мгновенье. Возмущенно хихикнула, отстранила губы, попыталась вывернуться. К моему удивлению, сила, годная для таскания угля и рубки дров, на сей раз явно ей изменила.

– Пусти, Олли! Мне мамке помогать надо!

Я снова ее схватил, прижал к дереву. Я вжимал в дерево это женское, тугое и не знал, что делать дальше. Наконец в первобытном наитии я вынул свой напряженный, пылающий корень зла и положил на него непротивящуюся руку Эви. Глаза у нее раскрылись, она глянула вниз. Рот перекосялся и вместо улыбки выдавил гримаску, понимающую, жадную, презрительную – все сразу. Голос стал хриплым, задышливым бормотаньем. Грудь ходила ходуном.

– И все это мне?

Да, заверил я ее, тоже хрипло и задышливо, и лес качнулся и вместе с сердцем подпрыгнул, да, да, тебе. Ноги у нее подкосились, она заскользила по моей груди, животу вниз. И сквозь все это безумие я услышал шепот:

– Ну чего, тогда уж давай.

* * *

Деревья вернулись на место, когда вернулось на место мое сердце. Я лежал навзничь и видел сквозь дымку ресниц, не в фокусе, шелестящие кроны. Каждый удар сердца их встряхивал, как ветер рушит отражение в воде. Я чувствовал только покой. Покой в крови, в нервах, в костях, в голове, в глубоком дыханье, в утомлявшемся сердце. Добрый покой, и он все ширился. И листья были добрые, и доброе синее небо за ними. И добрая подо мной лежала земля, мягкая, как постель, с доброй тьмой по всей непроглядной глубине. Я повернул голову и увидел: белый носок, коричневую сандалию. Другая – на метр в стороне. Я перекатился на живот, оперся на локоть и стал, сантиметр за сантиметром, в глубоком покое осматривать эти ноги. Безвольно раскинутые, белые, нежные, в венах нежнейшей голубизны. Всползши на бедра, мой взгляд обшарил их с обеих сторон и перешел туда, к почти безволосому телу, где свидетельства моего рискованного онанизма были разбросаны вокруг розовых лепестков. Вобрав бессильные ладони, белые руки, он двинулся дальше, к дрожи пульса над сердцем; убедился, что она дышит быстрее, чем я, и мелко подрагивают при всей своей твердости розовые наконечники двух полусфер.

Во мне взбухал, наливался восторг. Я улыбался, оглядывая ситцевое платице, сморщенное, скомканное складкой от подмышки к подмышке. Я задрал подбородок и расхохотался ей в лицо. Ее голова была чуть приподнята кочкой, и в глубокой прорези среди дрожания кисточек текуче поблескивали глаза. Губы еще больше выворотились и часто-часто дышали, будто старательно выталкивая из тела жар. Я сел, она быстро глянула на меня, очень изглубока, тут же отдернула взгляд. Пробормотала:

– Ну вот, видать, и все.

Темные волосы рассыпались по примятым, поломанным колокольчикам. Я быстро нагнулся, поцеловал розовый

наконечник, который поближе, и она вся вздрогнула с ног до головы. Я поцеловал другой, рассмеялся, сел, отвел волосы с глаз. Ощув при этом некоторое затруднение, я поднял левую руку. Костяшки пальцев, оказывается, превратились бог знает во что – взбухшее, жуткое. Я попробовал пошевелить пальцами, и боль прострелила руку до самого плеча.

– Господи. С чего это она? Раньше не болела.

Эви подняла голову и оглядела себя.

– Ну, ты вроде получил, чего хотел?

– На. Возьми мой платок.

– Спасибоочки.

Я по-хозяйски сунулся к ее груди, но она смахнула мою руку.

– Отстань!

Вскочила, одернула платье, оно обвисло гармошкой.

– Ой, ну складочки. Жуть! На кого я похожа!

Топча темные листья, она подобрала косынку, трусики.

– У тебя листики в волосах. И прутик.

– Глянь лучше, складки какие!

Складки действительно были довольно изобличающие. У меня мелькнула мысль, что Эви уже, безусловно, сталкивалась с этой деликатной задачей, из-за Роберта, например. Я попытался помочь Эви, с силой оттянув платье у нее на спине, но она вывернулась.

– Не цапай, что не твое, юный Оливер!

– Да я старше тебя!

Она глянула на меня не то что с презрением или с вызовом, а как смотрят на предмет неодушевленный. Странно, подумал я, какими темными могут быть серые глаза. Она открыла было рот, но закрыла и продолжала отряхивать и разглаживать складки. Все равно, думал я, – и тут взбухавший во мне восторг вдруг распустился багряным цветком, – оно мое, это надутое, женственное, великолепное создание!

– Погоди-ка, Эви. Я вытащу прутик.

Я разбирал ее волосы, нюхал, нюхал запах земли, тоненький запах примятых цветов. Вытащил прутик и обнял ее. Она обвисла в моих руках безответной сердитой массой.

Потом вырвалась и пошла через деревья к тропе. Я двинулся за нею. Она ускорила шаг, выбралась из-за деревьев, перешла на неровную тропу, замедляясь лишь там, где требовала осторожности густая колючая куманика. В нескольких метрах от Бакалейной я ее догнал.

– Эви...

Она недовольно смотрела на меня.

– Когда...

– Не знаю.

– Я буду ждать здесь, вечером.

На это она ответила косой, уже мне знакомой гримаской.

– Нет уж.

– А завтра?

– Почему я знаю?

– Завтра после приема. Вечером.

– Тебе прям все сразу сказать? Ишь разлетелся, мистер Умник.

Я уверенно сжал ее плечи.

– Завтра вечером, после приема. Я буду ждать. И мы с тобой снова...

Она ничего не ответила, только мрачно смотрела сквозь меня.

– Или нет, Эви?

Эви чуть обмякла в моих руках.

Я смотрел, как она скользит своей характерной походкой мимо дома священника, соседних домов, к Бакалейному тупику. С гордостью собственника я любовался этой гривой, кругленькой попкой, легкими взмахами милых рук. Я пошел домой расхлебывать кашу. Много чего накопилось, сейчас начнется... Папа встретил меня такой грустной озабоченностью, что лучше бы уж он на меня наорал. Разбитая панель не поминалась ни звуком. Мама думала, что мне, наверное, стыдно, но так отчаянно скрывала сомнения в здравости моего рассудка, что они были мне абсолютно ясны. Папа осмотрел мою руку, намазал порезы йодом, дал мне слабительное. Я, конечно, без конца извинялся, говорил, что просто не понимаю, что на меня нашло. Я сам починю пианино или заплачу за починку при первой возможности. Я больше не буду. И – вот именно – я был совершенно спокоен. Я извинялся снова и снова. Но на самом деле ничто меня не брало, ни разбитая панель, ни папина глубокая озабоченность. Ни даже мамины слезы.

* * *

Когда я лег спать, левую руку стало ломать и дергать. Я положил ее поверх одеяла, чтоб остудить, но это не помогло, и я оперся локтем о подушку, так что рука была выше головы и от нее несколько отхлынула кровь. Поразительно, до чего изменилась жизнь. Даже мысль об Имоджен хоть привычно кольнула сердце, но как-то смутно кольнула, затупленным острием. Я от нее загородился воспоминанием о белом душистом теле. Мне хотелось странных вещей, хотелось, чтоб Имоджен узнала, что Эви – моя; чтоб она поняла – но она же знала, конечно, – до чего хороша наша местная достопримечательность, моя чудная прелесть, благодаря которой я достиг такого покоя. Я представил себе Стилборн: пижоны из колледжа на востоке, конюхи на западе, жаркие эротические леса на юге и на севере – голый откос. От Бакалейного тупика до Старого моста – серебристая нить, безопасная, патрулируемая линия. Роберт на своем мопедке прошел эту линию с обходных путей. Я же перехватил самый важный участок между тупиком и нелепой лесной церквушкой. Я по всем правилам наставил сержанту Бабакумбу рога. Рога эти мне рисовались довольно смутно, но выражение нравилось. Я думал и думал про ее тело, я с наслаждением перебирал все подробности. Я их знал теперь наизусть. Я разрабатывал планы

новых побед. Завтра легко, играючи я оплету поцелуйной цепью сначала один розовый наконечник, потом другой, смеясь, наслаждаясь дрожью и трепетом своей добычи. Руку дергало, голову переполняла белая женственность, и, только уже когда совсем рассвело, я заснул.

День начал тащиться еле-еле с самого завтрака – бесконечно растянулся в длину. Время было жаркое, яркое, я не знал, как его убить. Родители все еще были мрачны и озабочены. Стараясь к ним подлизаться, я был тише воды, ниже травы – даже помог мыть посуду. Я вызывался еще что-нибудь сделать, может, сбежать в лавку, но мама это отклонила. Я пошел в аптеку и спросил у папы, не надо ли разнести лекарства – я уже сто лет этим не занимался, – но папа только головой покачал. Пойти погулять я не мог. Папино слабительное оказалось таким сильнодействующим, что почти весь день мне пришлось держаться поближе к дому. И со своей распухшей левой рукой я не мог играть на пианино. Панель папа вынул и поставил к стене у себя в аптеке, чтобы починить, когда выдастся свободное время. И, сев на музыкальный стул, я очутился лицом к лицу не с музыкой, а с каким-то хитрым узором. В общем, это было не так уж и важно, мне не очень хотелось играть. Я только попытал правой рукой хроматическую гамму и остался доволен ее исключительной беглостью. Пианино, кажется, не особенно пострадало. Вернее, последний удар мало что прибавил к бедствиям многострадального инструмента. И он скалил жуткие желтые клавиши, очевидно решившись встретить гибель с улыбкой и быть мужественным до конца.

Прием еще не кончился, а я уже бродил взад-вперед по Бакалейной и нервничал. Я прошелся туда-сюда мимо изгороди из стриженной вероники, постоял, прислонясь к высокому забору у нас на задах. Я поглядывал вверх, на откос, на кручу кроличьего садка, ольшаник и за ними, выше, – те, наши деревья. Пробили церковные часы, и сердце у меня бухнуло и покатилося – вот сейчас выйдет Эви. Но она не появилась. Я все больше злился, дошел почти до самого Бакалейного тупика – ее не было. Я вышагивал взад-вперед по серебряной ниточке, я не мог с нее сойти, я постепенно понял, что к ней прирос, увяз, не сдвинусь, останусь тут, пока не загаснет день, если понадобится – всю ночь, если понадобится – останусь тут, пока брезжит хоть чуточная надежда.

И вот, когда мне стало казаться, что надежда свелась на нет, я увидел Эви. Она снова была наша местная достопримечательность и лучилась даже больше обычного. Она плыла, она улыбалась, открыв рот. Она явно обрадовалась при виде меня, потому что, когда я помахал ей рукой, она засмеялась, тряхнула черными волосами, сменила шаг на побегжку. И опять поплыла, и с нею вместе плыл ее запах.

– Привет, Эви! Как ты долго!

– На уроке занималась.

– На уроке?

– Ну, ты знаешь. Секретарское дело.

– А-а! Старый Уилмот...

Эви хихикнула и вполне добровольно свернула на нашу тропу. Она сверкнула – или нет, осияла меня, так будет верней сказать – взглядом через плечо, и я пошел за нею.

– Стенография.

– И как у вас пишется «пневмония»?

– Еще чего!

Эви расхохоталась и припустила бегом, пока не запнулась на крутизне.

Деревья сомкнулись. Ветер протиснулся между мной и ее платьем, и нас обоих тучей накрыл запах жимолости.

Я шел за нею шаг в шаг.

– В каком смысле – «еще чего»?

– Ну, там не медицина. Вообще.

Она снова расхохоталась.

– Просто он возьмет книгу какую и...

Нам преградила путь куманика. Мой нос был всего в нескольких сантиметрах от ее гривы. Я уже не знал, то ли это путанные привады лета, догоравшего в обступивших нас кустах, то ли запах ее тела. Насчет запаха неясно, но видеть я видел, как это тело шевелится под сине-белым ситцевым платьицем. И собственное мое тело напряглось. Я дернул ее за руку, повернул к себе и крепко поцеловал. Она, хохоча, отдернула губы.

– Нет! Нет! Нет!

Оттолкнула меня, хохоча, сверкая, сияя, благоухая, снова метнулась козочкой по тропе.

– Говорит, наподдаст мне, если не стану лучше стараться.

Я покатился со смеху, вообразив капитана Уилмота, с волчьим оскалом выбирающегося из своего электрического стула.

– Если только он тебя поймает. «Примкнуть штыки!»

– Говорит, мне самой даже понравится.

– Старый педрила! Ты бы сказала отцу!

Эви опять захохотала, тоном выше. Мы сошли с тропы в заросли. Я схватил ее, но, все хохоча, она увернулась и скрылась в кустах.

– Эви? Ты где?

Молчание. Только городские звуки с долины под нами. Я вслепую продрался сквозь кусты, и там она меня ждала – запыхавшись, сверкая. Я обнял ее, она меня оттолкнула обеими руками.

– Нет! Нет! Нет!

Из города летели: очень отчетливый звон медного колокольца и сиплые контуры крика:

– Эй! Эй! Эй!

Эви затаила дыхание. Прямо у меня на глазах под тонким платьицем выскочили на груди две пуговицы. Она прижалась ко мне, вцепилась мне в плечи, закрыла глаза.

– Возьми меня, Олли! Сейчас! Возьми!

И – через миг – распластана среди цветов, задрано платье, глаза дрожат, лицо искажено, смеха ни следа...

– Олли! Олли! Сделай мне больно...

Я не знал, как сделать ей больно. Выбивая частую дробь в своем мальчишьем усердии, я тонул, я терялся в сжатиях и растяжениях дыбящегося и опадающего тела. Она не принимала мой быстрый ритм, только долгие, глубокие океанские раскаты, в которых ее муж, ее мальчик колыбался щепкой, не более. И эти океанские раскаты как бы бескостного тела сопровождалась метаниями головы – глаза закрыты, наморщен лоб, – будто в мучительном плаванье к дальней, темной, злой и запретной цели. Я был лодчонкой в глубоком море, а море само было стонущей, вражеской, скрытной стихией, требующей, но не жаждущей соучастника. И вот я потерял направление, лодчонку накрыло, поволокло на утес, и тут раздался крик, громкий, пыточный, и я лежал среди бурунов, потерпев кораблекрушение...

Деревья встали на место. Все затихло, кроме моего сердца. Цветы были тихие, далекие – как нарисованные. Я быстро отошел от нее и лег, зарывшись лицом в мертвые листья.

Холодящее опасение закралось мне в душу, постепенно переходя в кое-что похуже. Я слышал, как она поднялась на ноги и занялась платьем. Я присел на корточки и смотрел на нее, она меня не замечала. Потом двинулась к тропе. Я бросился ей наперерез.

– Эви!

Она метнулась в кусты, я за ней, схватил за руку.

– Ладно тебе, Эви!

Потом мы стояли лицом к лицу и – я орал, она визжала – выясняли, кто виноват, как и почему, будто криками можно что-то отменить и поправить. И – так же вдруг, как разорались, – мы смолкли. И холодной, немой угрозой непоправимо навис факт.

Эви повернулась и ринулась сквозь заросли к краю откоса, будто жаждала глотнуть воздуха. Я двинулся за ней, глупо стараясь производить как можно меньше шума. Я прочистил горло и шепнул:

– По-твоему, у тебя будет?..

Она раздраженно дернулась, с ненужной яростью махнула по горизонтальным складкам.

– Почему я знаю?

– Я думал...

– Придется, значит, тебе погодить и посмотреть, как и мне, а?

И глянула на меня с этой своей неприятной кривой ухмылкой.

– Думал, можно одни пирожки да пышки без шишек поиметь?

Я смотрел на нее, стиснув зубы и ненавидя весь женский пол. Словно прочитав мои мысли, она буркнула:

– Мужиков – ненавижу!

Мутный, медный звон взлетел с долины. Мы оба посмотрели туда. Сержант Бабакумб достиг своей второй остановки. Я даже различил его между стволами ольхи – крошечное красно-синее пятнышко на гребне Старого моста. Эви отвела от него глаза. Она стояла против меня, несколько сдвинутая к моему правому боку. Сложив под грудями руки, раскорячив ноги, уронив голову. Никакая не местная достопримечательность. Просто прачка. Очень медленно она шарила взглядом по городу, от церкви до моста, от Бакалейной до самых лесов. Когда наконец она заговорила, это был грубый голос Бакалейного тупика, голос оборвышей, хриплый, злой:

– И город этот весь ненавижу – ненавижу! Ненавижу! Ненавижу!

Я глянул вниз, мимо темной ступенчатости кроличьего садка, мимо зеленого склона – на город. Осмотрел высокий забор у нас на задах, наш лужок, окно ванной. Глянул поверх нашей крыши на дом мисс Долиш, послушал будничный, деловитый автомобильный рожок. Там выяснится вся глубина моего преступления. Я отпрянул за стволы ольхи, Эви с усмешкой на меня оглянулась:

– Чего боишься. Никто тебя не узнает аж с такой дали.

– Эви. Что же нам делать?

– А чего тут сделаешь.

– Может, ты...

Я имел весьма смутное представление о вовлеченных биологических факторах и совершенно не знал, как тут быть. Я грустно присвистнул и отвел с глаз волосы.

– Когда ты будешь знать?

– В понедельник, может, во вторник.

Она отвернулась от города и стала продираться к тропе. Я пошел за нею. Мы оба молчали. Вечер был светлый, еще тепло. Я глядел на ее спину, такую узкую, незащищенную, такие слабые голые руки, и впервые, кажется, понял, какой это ужас – быть девушкой.

– Эви...

Она остановилась, не оглядываясь.

– Не горюй. Может, все еще и обойдется.

Она как-то странно всхлипнула и пустилась бегом по тропе. Я шел медленней, раздумывая, как мне быть. Когда я свернул с тропы на Бакалейную, Эви ушла далеко вперед. И снова плыла, сдержанно, уверенно.

Я шел домой, пронзенный этим видом, сам не свой от невыносимых опасений. Я с ужасом вспомнил про Оксфорд. Если – если – если у нее будет ребенок – прости-прощай, Оксфорд! Какие пойдут разговоры! В восемнадцать лет бросить учебу из-за женитьбы. Пришлось. Иначе – семь фунтов в неделю, алименты. Про эти семь фунтов я знал. Мы щегольски запускали их в разговор, как месячные, как девять месяцев и целый словарь подобных понятий.

– Может, все еще и обойдется...

Потом меня как громом поразила мысль о родителях. Папа, такой добрый, медленный, такой серьезный папа, мама, хоть она, конечно, штучка, но так меня любит, так гордится мной... Это их убьет. Стать родственниками, пусть даже свойственниками, сержанта Бабакумба! Их общественное положение, столь хрупко уравновешенное, столь тонко блюстимое, полетит из-за меня в тартарары! Я поволоку их вниз, вниз, вниз, по тем крошечным ступенькам, по которым так трудно карабкаться, а сверзиться так легко. Да, я их убью.

Я пытался незаметно юркнуть наверх, но не тут-то было.

– Оливер! Это ты, детка?

– Я, мама.

– Скорей иди ужинать.

Я вошел в столовую. Они оба там сидели. Я оглядел холодную свинину. Я забыл про еду, есть мне совершенно не хотелось.

– Можно я не буду?

– Глупости! – Мама сверкнула очками. – Ты же растешь! Садись-садись, будь умницей. К тому же папочка хотел тебе что-то сказать.

Я покорно сел и уткнулся взглядом в холодную свинину у себя на тарелке.

– Чего же ты дожидаясь, папочка? Скажи ему.

Папа завершал пережевывание. Глаза у него были задумчивые, нежно ходили ходуном вверх-вниз моржовые седые усы. Потом он медленно повернул ко мне свою лысую голову.

– Это по поводу пианино, Олли.

– Я же просил прощенья уже.

– Хватит об этом! – Мама весело рассмеялась. – Все прощено и забыто. Ты слушай!

– Мы вот подумали. Чинить его будет долгое дело. Пока клей застынет и прочее. А с этой своей рукой ты еще несколько недель не сможешь к нему подойти, так я полагаю.

– Не тяни, папочка! Вечно ты тянешь!

– Ну вот, а мы тебе пока не сделали подарка, достойного твоих упорных трудов. И мы решили – мама и я: мы отправим пианино в Барчестер, и там его подновят. Одним махом – двух зайцев. Конечно, встает вопрос денег – правда, мама?

– Он всегда встает – деньги есть деньги!

– Но я все прикинул и думаю, мы...

– А если рука у тебя раньше заживет, ты всегда сможешь играть на скрипке, Оливер, ты же так дивно играл, пока не помешался на своем пианино!

– И когда ты приедешь из Оксфорда на каникулы, у тебя будет настоящий инструмент.

Он повернулся к своей тарелке и снова принялся за еду.

– Конечно, – сказала мама, – ты сам понимаешь, оно не превратится в концертный рояль!

– Но лучше оно сделается, – сказал папа. – Там много чего могут. Вряд ли станут делать деревянную раму. Дерево всегда портится. Не знаю, кому оно нужно.

– Может, даже клавиши отбелят.

- Дерево всегда портится. Это из-за климата.
- И подсвечники нам не нужны. Пусть их снимут.
- Металл для звука лучше. У нас металл.
- Ну чего ты, детка? Ну-ну, перестань! Все ведь прощено и забыто!
- Успокойся, старина!
- Это наследственное, знаешь, папочка.
- Покажи-ка нам язык, старина.
- Не надо его дразнить. Скушай свининки, Оливер. Это тебе полезно.

Папа тяжело поднялся и пошлепал в аптеку.

– Ну чего ты, ревушка-коровушка, – сказала мама ласково. – Я же все понимаю, детка. Растить трудно – даже и мальчику. Это наследственное. Характер. Скушай, скушай свининки, детка, тебе сразу полегчает. Знаешь, я помню... Ты не поверишь, Олли... Мы так тобой гордимся, детка, но не можем же мы без конца тебе про это твердить. Вот горчичка.

Папа молча вернулся и поставил возле моей тарелки рюмочку. Опять со слабительным.

* * *

Кое-как тянулись дни. Миссис Бабакумб по-прежнему одаряла меня своим косым кивком с любого расстояния, вплоть до ста метров. Эви уже не ходила патрулируемой дорогой. Я слонялся по Бакалейной, и надежда моя таяла. Иногда я слышал, как она стучит на машинке в приемной, иногда видел, как она пробегает с работы домой, – и все. Эви меня избегала. Настал понедельник, вторник, среда – она не появлялась на моем горизонте. Мой ужас перешел в стадию непрерывной тревоги. В снах фигурировал новый кошмар, повторяясь из ночи в ночь. Будто я иду по Стилборну, но приговоренный к смерти. И родители тут же, все знакомые тут же, и все согласны со смертным приговором, ибо моя вина, хоть она в сновиденье не проясняется, – непростительна. Просыпался я с радостью, что это был сон. А потом вспоминал Эви.

Через неделю я снова увидел ее, но не смог с ней поговорить. Я был в ванной и оттуда увидел Эви с тощим партнером доктора Юэна – доктором Джонсом, они ходили взад-вперед по большей из двух юэновских лужаек. Я опасливо пронзил ее взглядом, будто рентгеновским лучом. Но ничего особенного не заметил. Точно такая же, ни на йоту не изменилась. Ножки переступают ниже колен, буйно подрагивают мохнатые ресницы, рот открыт, на губах загадочная усмешка. Я ощутил разом облегчение и ярость. Конечно, девушка в таком положении – если она в таком положении... Но тощий доктор Джонс вел себя при этом странно. Сжимал руки за своей хлипкой спиной. Вертел коленками, поглядывал искоса и хихикал. Ничуть на доктора не похож. Просто старый дурак. Как пить дать, лет сорока, не меньше.

Потом я сообразил, что он, однако же, именно доктор. А известно, зачем ходят девушки к докторам. Я провожал исчезающую в доме счастливую парочку, как каких-то чудищ. Ясно было одно. Мне необходимо ее увидеть. А у меня не было ровно никакого предлога, чтоб пройти в приемную. Поскольку я не мог предъявить таких явственных признаков недомогания, как, скажем, сломанная рука или сыпь, любое мое посягательство на медицинскую помощь папа встретит новой дозой слабительного. Или, учитывая блестящий успех предыдущих двух доз, это будет, возможно, противопоносное средство. Даже моя левая рука зажила и обрела прежнее свое проворство, будто раскокать панель было для нее просто эксцентрическое фортиссимо, просто упражнение такое. В тоске и печали я проанализировал свое состояние и заключил, что абсолютно здоров. Тут не могло быть сомнений. Вдобавок я питал благоговение к докторам, особенно удивительное при таком близком соседстве. Я безотчетно опасался, как бы доктор Юэн, внимательно меня осмотрев, авторитетно не объявил, что

я жду ребенка. Но мне надо было ее видеть – и я решился. Я сбегал к себе, схватил с полки книжку, сбежал вниз и прошел прямо в аптеку. Папа разглядывал сквозь свои толстые стекла рецепт.

– Книга для мисс Бабакумб, – сказал я непринужденно. – Лучше я сейчас ей занесу. А то потом...

Зря я, однако, старался, папа все разглядывал рецепт, бормотал, не замечая меня, нашаривая правой рукой шпатель. Я прошагал коридором и открыл дверь в приемную. Доктор Джонс отскочил от Эви так, будто она всаживала в него шприц. И уставился на меня. Возле рта у него краснел мазок помады. Он сказал с облегчением:

– А-а, это ты!

И тут стукнула входная дверь, и ввалилась толстая миссис Данс, вопя так, как только ей позволяли тучность и одышка. На руках у нее был крошка Дагги. Весь красный и дергался. Доктор Джонс мигом преобразился.

– Спокойствие, миссис Данс! Дайте мне ребенка. Мисс Бабакумб – вы мне нужны.

И повалили в кабинет, все четверо или, может быть, пятеро... Я так и остался у двери с «Сельскими комедиями» мисс Ситуэлл [9] в протянутой руке. По-прежнему терзаемый мучительной неизвестностью о том, жду ли я ребенка, я прошел обратно через аптеку, где все так же парили над чем-то медленные, четкие пальцы моего тихого папы.

И снова пошли слежка, подглядывание, патрулирование, и, как ни завлекала меня мама вкусами, у меня начисто пропал аппетит. Наконец настало воскресное утро, и я опять увидел Эви. Я мрачно стоял у забора на задворках у Юэнов, на Бакалейной. Я даже порыскал у деревянной лачуги в дальнем конце на случай, если они служат – или что там с ней делают – свою мессу. Но там было тихо и пусто. Я пошел другой дорогой, мимо задворков священника, мимо обнесенных вероникой домиков, пока не дошел до места, откуда открывался вид на Бакалейный тупик. Послonyaлся там в надежде увидеть, как она выходит из крайнего дома. В конце концов я поплелся обратно и, злой и несчастный, встал, привалясь к кирпичному забору Юэнов. И вот из-за поворота выплыло сперва колыханье подола. Я мгновенно опознал ситцевое платье Эви, белое, в дымно-синих цветочках и веточках. Отскочил от забора и почти побежал ей навстречу. Она шла тоже быстро, ровно переступала ножками, и ветер сгонял назад ее волосы, облеплял ситцем груди и бедра. Я подошел к ней вплоть, схватил за плечи.

– Эви! Скажи мне!

Она смотрела на меня угрюмо, как на врага. Раскрашенная – старательно, густо. Мохнатые ресницы расчесаны, склеены чем-то черным, как такие пластины. Глаза обведены голубым, и будто вырезаны из багровой бумаги ярко намазанные губы.

– Отстань, Олли. Я с тобой больше не буду встречаться.

Она выворачивалась, я держал ее крепко. И надсадно шептал:

– Будет у тебя ребенок?

– Пошел ты...

Я ее встряхнул.

– Ребенок! Будет у тебя?..

Она вырвалась. Глянула на меня злобно.

– Тебе надо знать, да?

– Я должен знать!

Она раздраженно дернула головой и хотела уйти. Я загородил ей дорогу, вытянув руки. Она попробовала под них поднырнуть, отчаялась и кинулась на ту тропку, ведущую к ольшанику. Увидела, куда попала, повернула назад. Но я загородил отступление. Она побежала наверх, я за ней. Сгреб ее за голые локти, повернул к себе.

– Эви!

Она отвернулась, что-то выплюнула в кусты.

– Эви! Что с тобой?

Она распрямилась и смотрела на меня из-под черных щелкающих пластин.

– Мошку заглотнула!

– Последний раз спрашиваю! Будет у тебя ребенок?

– Нет. Не будет. А то тебе больно надо знать. Или еще кому.

– Слава Богу!

Вся перекосясь, она передразнила меня:

– Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу!

И, спотыкаясь, стала взбегать по тропе, напарываясь на ветки, попадая в крапиву, шарахаясь, петляя. Я затрусил следом. В сердце у меня распустились великая радость и покой. Я ускорил шаг, я был уже в метре от нее, а она все взбиралась вверх какой-то сразу дерганой и расслабленной побегкой. И бросала при этом такие же дерганные слова:

– Пусть бы мне завтра помереть – и то бы тебе ничего. И никому ничего. Вам всем одно надо – тело мое поганое, а не я. Хоть бы мне пропасть, хоть бы тебе пропасть вместе с хреном твоим поганым и с химией твоей поганой, умник выискался... Только тело мое поганое, только...

Мы вырвались в солнечный круг. Смеясь от радости, от облегчения, я снова повернул ее к себе, мне хотелось, чтобы она поделила мою радость, чтобы все разделили. Держа ее одной рукой за спину, вжимая в себя эти круглые груди, я другой рукой поднял ее лицо, чтобы поцеловать. Она поморщилась, вывернулась, зашипела, как кошка.

– Ну Эви, ну миленькая! Ну давай! Успокойся! Успокойся, юная Бабакумб!

Тут она прижалась ко мне, руки на моих плечах, голова у меня на груди. И заговорила, всхлипывая, давясь слезами:

– Ты меня никогда не любил, меня никто никогда не любил. Я любви хотела, хотела, чтоб кто пожалел... я хотела...

Она хотела нежности. Я тоже. Но не от нее. Мои возвышенные фантазии, обожание и безнадежная ревность не имели к ней никакого касательства. Она была – доступная вещь. Я с улыбкой переживал, когда отпольшают

летние молнии, отбушует гром, уймутся ливни, чтобы нам снова приступить к разумным отношениям. В конце концов, Эви – это дикое, нужное, вожделенное существо – была еще и девушка. И естественно, слезы немного погода иссякли. Я ждал, не без легкой иронии, что сейчас проступит игривая, таинственная усмешка. Но Эви, наоборот, медленно оторвалась от меня, смахнула с лица волосы. И медленно побрела сквозь кусты к ольшанику над кроличьим садком, прикладывая к глазам и к носу платочек. Бросилась на землю в тени, оперлась на локоть и уныло разглядывала Стилборн в лиственной раме.

Через минуту-другую я подошел, встал на коленки сзади нее, рядышком, беспечный и радостный, как пчела над цветком. Я погладил ее голое плечо. Она отшвырнула мою руку, будто отмахнулась от мухи. Хохоча, я раблезианским жестом задрал ей подол. Хихикая, схватил резинку трусов. Ощувив на себе мои пальцы, она дернулась от меня, и трусы скользнули к коленкам. Как током ударенная, она поддержала их и глянула на меня через плечо мертвым, белым под размазанной краской лицом.

Есть вещи, которые не надо анализировать, раскапывать, затверживать и воскрешать усилием памяти. Они просто вспыхивают перед глазами, и можно детально разглядывать их. А вдобавок такова их природа – ни одна ведь мысль не мелькнет, не оставя зарубок где-то в космосе, – что они сразу же влекут и неизбежное истолкование. Я стоял на коленках, смотрел на нее и не видел, видел только свое открытие, и из клочков с естественной неотвратимостью складывалась картинка.

Капитан Уилмот со своим волчьим оскалом и грудой невыкопанной шрапнели! Примкнуть штыки! Капитан Уилмот, добрый соседushка, гоняющийся за призраком юности, вышибленной из него снарядами, нежно преданный учитель от природы одаренной ученицы.

Она вставала перед ним на коленки, я так и видел. А он, пригнувшись, наверное, к креслу, тянулся над ее свешенной головой и правой рукой выбивал эти красные шрамы, в такт, что ли, глубоким океанским раскатам, а потом, утомясь – много ли сил у разваливающей, слюноточащей горгульи, – отпускал удары уже послабее, уже левой рукой по другим, тем рубцам.

Не знаю, сколько времени я так смотрел на нее, не видя, и мы оба, застыв, молчали. Мне было восемнадцать, ей тоже, и первый звук, наверно, какой я издал, был смех – от чистейшего изумления. Потом я снова увидел ее – глаза и губы, вклеенные в белое лицо, Стилборн не в фокусе под нею, за нею. Я засмеялся снова, от беспомощности, потерянности, будто я напоролся на проруху, ноль, пустоту, где не то что нарушаются правила, а просто правил – нет. Такой срез жизни.

Не отводя от меня глаз, глядя на меня из-под своих неподвижных пластин, Эви подняла руку к волосам и хихикнула, но это не навело в ее лице порядка. Она затихла, глядя на меня – глаза в глаза, – и вдруг в лицо ей кинулась краска. Она не то что покраснела, вспыхнула, нет, все лицо разладилось, вздулось, и блестящая от натяжения кожа будто не давала закрыться рту. Хрипло, надсадно, так же неудержимо, как она покраснела, у нее вырвалось:

– Пожалела я его.

Я отвел от нее глаза и смотрел на город. Высветленный тенью ольшаника, он лежал разноцветный, мирный. Я смотрел на наш забор, окно ванной, окно аптеки, на наш дворик – там стояли бок о бок на травке мои родители. Я так и видел, как папа смотрит на клумбу, а неугомонная мама нагнулась и что-то перебирает в цветах. Они были слишком далеко, я их узнавал только по фону и жестам, папа был темно-серым пятном, мама – светло-серым. И вдруг я остро ощутил: там и здесь, два разделенных мира. Там – они с Имоджен, чистые на разноцветной картинке. Здесь – она, эта, предмет, вещь, на земле, провонявшей прелью, обглоданными костями, жестокостью, – отхожее место природы.

Вещь все смотрела на меня. Лицо опять стало белым. Мы вели себя так тихо, что дрозд спокойно поклевывал рядышком перегной. Хроменькому, об одной лапке, ему приходилось отставлять хвостик вбок, чтоб сохранять равновесие.

Эви встала на коленки, и дрозд сразу упорхнул.

– Олли.

– А?

– Хочешь?

– Что?

Она ссутулилась, уставилась в землю. Потом подняла глаза, так закусив нижнюю губу, что на обоих резцах осталось по красному пятнышку.

– Я все сделаю. Все, что ты скажешь.

Сердце у меня оборвалось, плоть взыграла. Они там, далеко, два серых пятна, а здесь оно – неизбежное, нужное, неопровержимое. Я с любопытством вглядывался в свою рабу.

– Когда? Я хочу сказать – когда это началось?

– С пятнадцати лет.

Непостижимо – но смутное подобье улыбки пробилося под слоем косметики, приподняв белые щеки, будто она вспомнила что-то стыдное и все же приятное.

– ... И всю дорогу.

Я протянул руку, она отпрянула.

– Нет. Не сегодня. Сегодня... не могу я!

И осторожно поднялась на ноги. Я сказал твердо:

– Тогда завтра, после приема. Я буду ждать. Тут.

Она встряхнулась, взяла себя в руки. И стала прежней Эви. На секунду спроворила даже легкое излучение, косую ухмылку. Потом пошла по тропе в кустах и скрылась из глаз.

Я остался, где был, среди произрастаний и запахов, и смотрел на Стилборн, картинкой в лиственной раме висящий на какой-то стене.

* * *

Вечером за ужином мама объявила свой план:

– Сможешь ты заварить чай, папочка? Для себя и для Олли? Или Олли, может быть?..

Папа поднял взгляд.

– Что? Почему? Когда?

Мама сверкнула очками.

– Здравсте! Кому я все это рассказываю? Вы, оказывается, оба ни звука не слышали!

Папа робко изобразил глубочайшую заинтересованность.

– Действительно, мама. Я задумался. Да. Так о чем ты?

– А этот вообще ничего не видит и не слышит. Да, скажу я вам...

– Так о чем ты говорила, мама?

– Как я уже сказала, – объявила мама с достоинством, – я еду в Барчестер. В субботу.

Папа почесал голову, прикидывая, что такое Барчестер.

– А-а, да.

– На автобусе в час дня. Свадьба не раньше трех.

– Свадьба?

Папа прикидывал, что такое свадьба.

– Чья свадьба?

Мама с шумом поставила чашку. У нее сегодня определенно был приступ раздражительности.

– Как ты думаешь – чья? Папы Римского? Имоджен Грантли, естественно!

Через какое-то время я снова стал слышать, что говорили за столом. Мама оканчивала долгий период:

– ... а чаю попию в Кадене.

– Да, самое хорошее место, я полагаю.

– Что ты в этом понимаешь, папочка? Ты ни разу там не был! А потом я, наверно, схожу в кино.

– В Стилборне тоже есть кинематограф, мама, – вставил папа услужливо. – Только я не знаю, что там идет.

– Ты много чего не знаешь, – сказала мама вредным голосом. – Даже кое-чего, что творится у тебя под носом.

Папа подхалимски кивнул.

– Я знаю. Может, Оливер тоже хочет...

– Он! – Обо мне говорилось как о некоем презренном предмете в далекой Австралии. – Он хочет по округе все время шататься, уж можешь мне поверить!

Некоторое время мы все трое молчали. Я слышал, как мама стучит туфелькой по ножке стола.

– Вот я и не прошу никого из моих милых мужчин меня сопровождать...

Стук прекратился. Помолчав, она заключила фразу тоном, не допускающим возражений:

– ... потому что не сомневаюсь, что только зря бы старалась...

Мы с папой устали в свои тарелки, молча по разным причинам.

* * *

Даже на другой день к чаю мама еще не остыла. Мне было что скрывать, и меня томили нехорошие мысли, обернувшиеся просто грозным предчувствием, когда она нарушила наше молчание.

— А эта девица долго торчала в аптеке, папочка!

— Да. Да. Долго.

— Что ж, надеюсь, ты дал ей полезный совет. Пора уж кому-то на себя это взять!

Папа утер седые усы и мирно кивнул. К нему ходили за советом. Наверно, потому что он был больше похож на доктора, чем доктор Юэн, притом не будучи окружен устрашающим ореолом докторского статуса. Люди считали, что с ним можно поговорить. Что правда, то правда — он довольно редко прерывал их своими соображениями. Пережевывая жвачку какой-то идеи, покуда она не выпустит последнего сока, с виду он будто слушал изливаемый на него речевой поток. И пациент ценил его мудрость. Да и в самом деле — добрый, отзывчивый, тщательный и медленный, он был, наверное, мудрым. Мне, с моей особой сыновней позиции, трудно судить.

— Ну и чего ей было надо, папочка?

Циничная часть моего существа на секунду возликовала, вообразив, как папа предлагает Эви слабительное. Но он пристально разглядывал чайник, поджав губы. Я ждал.

— Она... разуверилась в людях.

Я спрашивал себя, не продемонстрирует ли мой вопрос о том, кто эта девица, мое полное безразличие. Но разумно решил воздержаться. Зато мама полыхнула очками и со значеньем кивнула.

— Меня это не удивляет! Нисколько не удивляет!

— Твари, — сказал папа. — Все мужчины животные, твари. Вот что она сказала.

— Та-ак, — сказала мама. — А чего ты ждал от такой девицы? Мужчины таковы, какими ты...

Я прыснул чаем на скатерть. Эта мелкая неприятность подоспела весьма кстати. Пока меня стукали по спине, я очень рассчитывал на перемену темы. Но мне бы следовало понимать, что мама в своем странно затяжном приступе раздражительности не ограничится двумя-тремя репликами. И папе придется сдаться.

— Продолжай, продолжай, папочка. Что же ты ей на это сказал?

Папа вытер усы, провел ладонью по лысине, поправил очки, снова взглянул на чайник. Я услышал стук маминой туфельки.

— Я сказал — «нет».

Стук продолжался, и папа его услышал. Он уточнил:

— Я сказал — нет, они не животные. Сказал — я не животное. Сказал — наш Олли...

Стук прекратился. Папа мерцал и сверкал на меня искоса.

– Я сказал – конечно, у него есть свои недостатки, много недостатков, но он не животное.

Наступила пауза. Мама заглянула ему в глаза и спросила едва слышно:

– И что же она сказала?

Папа отвернулся от меня и смотрел в свою тарелку. Он ответил уклончиво:

– Ну, сама знаешь, как это бывает, мама... Я начинаю думать, а они... не помню.

Мама встала, взяла чайник и ушла с ним на кухню, хлопнув дверью. Снова наступила пауза. Потом папа тихонько сказал:

– Знаешь, все из-за этой свадьбы. Вот вернется она с этой свадьбы и... успокоится.

К концу приема я ждал в наших зарослях. Эви запаздывала, но все же она пришла. Ситцевое платье и все такое прочее всплывало по тропе. Моя распаленная похоть предвкушала ее кротость, униженность, осознание своей новой роли. Но Эви улыбалась, глядела даже, пожалуй, победоносно и опять излучалась. Она прошла мимо меня, уверенно двинулась сквозь кусты, сквозь ольшаник и села посреди морковных огрызков кроличьего садка. Я мялся рядом, переводил взгляд с нее на город и обратно.

– Пошли, Эви!

Она душисто тряхнула сияющей гривой, легла на солнышке. Широко раскинула руки, вытянула ноги, куполом опало платье.

– Пошли, Эви!

Снова она тряхнула головой, громко захохотала. Я подошел, присел на корточки рядом.

– Слушай – в чем дело?

Эви включила все, что положено, и глядела на меня искоса, помахивая лохматыми ресницами. Уперла подбородок в шею, еще подтянулась, отделив верхнюю часть тела от земли, и у меня перехватило дыхание. От знакомого запаха.

– Пошли на наше местечко – нам будет хорошо!

Эви закрыла глаза, рухнула. И так лежала, не улыбаясь.

– Здесь или нигде!

– Но... ведь город!

Подняла голову, глянула туда, косо усмехнулась.

– Я сказала. Все, мистер Умник.

Я приказывал, уговаривал, умолял. Эви не шелохнулась. Лежала, растянувшись, раскинув руки, и отвечала все той же фразой:

– Здесь или нигде.

В конце концов я смолк и уныло уткнулся взглядом в темную землю и сухие кроличьи катышки. Эви встала и отряхивала разную гадость с платья.

– Эви. Завтра.

Завтра – то есть в день свадьбы. Я уже знал, чем можно, как пластырем, залепить мысли про это.

– Ну пока. До завтра.

Здесь. Эви косо усмехнулась.

– Ладненко, Олли. А чего?

И ушла, уверенная, прямая, как ни в чем не бывало.

Только когда уже мы сели вдвоем обедать пораньше, чтобы маме успеть на барчестерский автобус, – только тогда я понял. Мама, благодушная, оживленная, вообще не закрывала рта – когда умолкала, ела.

– ... Ты можешь больше не беспокоиться за эту девицу, папочка. Она уезжает!

– А?

– Едет к тетке в Эктон. Ей работу обещали в одной фирме. Экспортируют, кажется, лес. Тоже неплохо!

– Неплохо?

– Ну, для нее.

Папа жевал, глядя прямо перед собой. Наморщил лоб, покачивал головой.

– Лондон. Не знаю. Такая даль. Юная девушка...

И продолжал жевать, зловеще покачивая головой, будто перед его умственным взором сонмы юных девушек проходили кидаться с Лондонского моста.

– Ерунда, папочка! – сказала мама, смеясь и сверкая. – Она же у тетки поселится!

Папа сменил покачивания на кивки, продолжая мерно жевать – тридцать два раза или, может быть, шестьдесят четыре? Мама перестала сверкать и смеяться и уставилась в стену. Когда она заговорила, голос у нее был тот, каким она сообщала обычно о своих волнующих, невысказанных предчувствиях и озарениях. Не допускающий возражений, железный, безличный, не мамин голос. Сейчас в нем звучали вдобавок бравурные, даже веселые ноты:

– Если она только побережется, она будет жить припеваючи!

Я мыл посуду с необъяснимой яростью. Покончив с этим, я вышел и зашагал через Стилборн, прочь от откоса. Нырнул в эротические леса, повернул, снова попал в поля. Считается, что с гребня Буфетной горы виден самый кончик Барчестерского шпиля, и я всю ее исходил и потом взобрался на гребень. Но Барчестер вместе с предполагаемым шпилем тонул в непроглядной сини. Я повернулся и мрачно обшарил взглядом весь откос до наших зарослей. Там, наверху, выше темного садка, белело крошечное пятно.

Не волноваться! Только не волноваться! Я пошел мимо Сенокосцев, мимо Конюшен, напрямик полями Малой фермы, снова взобрался. Белое пятно тут как тут. Видно с любого конца округи. Я, спотыкаясь, побежал вдоль

откоса – Ров, Взгорье, Железные ворота. Чертов лог. Задыхаясь, вломился в наши заросли, пот тек у меня по лицу ручьями, склеивал волосы. Церковные часы внизу пробили три.

– Эви!

Я рухнул с нею рядом, сердце колотилось о сырую землю. Она сидела скрестив ноги, опираясь на обе руки. Стилборн и вся широкая округа ходуном ходили за ее спиной, будто тоже задыхались от бега.

– Эви – ну пожалуйста!

– Здесь или нигде.

Я чувствовал уставленные в меня глаза Стилборна. Но они были далеко, были в толстых очках, а мы – два неопознаваемых пятна. Меня сковывал необъяснимый, неразумный страх, но сковывал не на шутку. Эви это понимала, победно хмыкала исподтишка и сама, наверно, удивилась и испугалась, когда я, обняв ее за талию одной рукой, схватил за грудь другой и запер отчаянными губами ее всполошенный ропот. Она не сопротивлялась и не помогала. И когда я уже лежал, задыхаясь, ничком, встала и ушла – вся красная, без единого слова.

Я остался лежать, как был, потом наконец глянул вниз из-под локтя, стараясь опознать фигурки,двигающиеся где-то там, по самой грани моего зрения. Я встал, пригнувшись, пошел через ольшаник и выпрямился, только уже когда спустился на Бакалейную. Открыл нашу входную дверь осторожно, как вор. Подумал, не взяться ли за скрипку, не сыграть ли, скажем, цыганский романс, на который меня со странной настойчивостью науськивала мама. Можно начать, например, тихо-тихо, потом погромче, еще громче, и папа не сможет определить, когда я вернулся – да и вообще выходил ли я из дому. Но мне надо было успокоиться поскорей, и потому я пошел в аптеку и непринужденно открыл дверь. Папа стоял возле верстака у окна. Верхняя часть окна была открыта и смотрела на наши заросли. Он даже не потрудился спрятать бинокль в кожаный чехол, висевший за дверью. Бинокль лежал перед ним на верстаке, потрепанный, но годный к употреблению. Я подсчитал в уме. Десятикратное увеличение. Шестьсот шагов разделить на десять. Шестьдесят шагов.

На верстаке перед папой лежала книга. Он медленно закрыл ее, прошел мимо, не взглянув на меня. Взял с гвоздя белый халат, надел, медленно вернулся к верстаку. Высвободил из-под скрепки один рецепт, близко поднес к глазам. Потом вдруг скомкал рецепт, оперся на сжатые кулаки, свесил голову. И стояла тишина.

Наконец он распрямился, осторожно разгладил рецепт, снял с полки пузырек. Я уже знал – сейчас начнется, уже чувствовал – подступает, неотвратимо, как секс. Чувствовал по тому, как меня трясло, и смешались Имоджен с Эви, пианино с Робертом и с мамой, и нестерпимые усилия воли не могли остудить глаз. Я выдохнул задушенно:

– К черту все! О! К черту! К черту!

Беспомощно, бешено, жалко. А слезы не лились – хлестали мне на ботинки, на скамейку, на руки...

– К черту! К черту! К черту!

Голова запрокинута, кулаки сжаты, растянулось, мутясь, окно, и темные подземные хляби разверзлись во мне, и текло, текло...

– К черту! К черту!

Папа водил из стороны в сторону головой, будто ее дергают за резинку, а сам он – недоуменный, угодивший в силки зверек.

– Я должен был знать, понимаешь ли, – должен. После всего, что она мне... – Он поставил пузырек, глянул в

окно, потом на свои руки. Провел одной по лысине. – Смеется и смеется. Я сначала думал – истерика. Смеется и смеется и... или издевается.

Я стоял – несчастный, гадкий, пропащий, уже мечтая провалиться сквозь землю. Папа откашлялся и продолжал странно решительным, натяженным решимостью голосом:

– Молодежь... не думает. Я... Ты не знаешь про это место... Бакалейный... Да... Одним словом... Там – болезнь, понимаешь ли. Я не утверждаю, что каждый непременно должен заразиться... но если так себя вести...

Снял очки, протер с хирургической тщательностью. И вдруг сквозь спокойный, устоявшийся агностицизм прорвался голос пуританских поколений:

– ...этот господин, как я там, по-твоему, должен его называть... эти книги... кино... газеты... этот секс – это зло, зло, зло!

Я стоял как куча дерьма, мечтая только о сточной канаве, по которой я мог бы проползти к моим родителям, упасть к их ногам, чтоб они простили меня, чтоб вернулась наша былая невинность. Я стоял и смотрел, как он готовит лекарства против всех недугов Стилборна.

* * *

Я не выходил из дому, играл на дешевой скрипочке вместо моего пианино, в надежде хоть как-то подлизаться к родителям. Я избегал Эви, как болезнь, которую расписывал папа. И действительно, видел ее всего один раз до ее отъезда. Я стоял у окна гостиной со скрипкой в руке. Я выложился на страстном цыганском романсе. И теперь стоял, уставясь на дом Пружинки напротив, с тоской представляя себе, как бы ее потешило мое прилежание. И тут по другую сторону Площади появилась Эви. У меня медленно отвисла челюсть. Эта познанная, разгаданная, эта падшая женщина ни чуточки не изменилась. Вывернутые губы, таинственная усмешка, наглый носик, сияющая грива, недвижные коленки. Она плыла, как всегда овеванная почти осязаемой аурой секса. Я провожал ее глазами, пока она не уплыла за ратушу. Она была – зло, зло, зло. Я тоже. Я вернулся к моей скрипке, к бешеным опортаменти и гортанным вибрато моей цыганщины.

Так исчезла Эви. Но только годы спустя я узнал – почему. Причиной был не я, хоть я так полагал, стыдясь и одновременно тщеславясь. И не Роберт со своим мопедом, и не капитан Уилмот со своей пишущей машинкой и плеткой. Как ни бился Дагги Данс в конвульсиях, которые его доконали, как ни билась миссис Данс в материнском горе и в истерике, у нее не отнялась пара стилборнских глаз, не отнялся стилборнский язык. Из нашей среды в сторону Лондонского моста Эви исторг крошечный мазок помады возле губ доктора Джонса. Это было уж слишком. Эви уехала, и снова тихо разгладилась разноцветная картинка Стилборна.

* * *

Эви, однако, избежала Лондонского моста, потому что я ее увидел еще раз, притом в Стилборне. Случилось это два года спустя, осенью, я был на пороге моего третьего года в Оксфорде и дергался, как все, потому что и ежу было ясно, что война на носу. Я сомневался, что удастся закончить курс, и довольно мрачно рисовал себе собственную участь под огнем нового западного фронта. У нас бушевала большая городская ярмарка – мероприятие, ежегодно намертво пресекавшее и без того хилую деловую жизнь Стилборна. Но она, эта ярмарка, уходила, как видно, корнями в такую англосаксонскую глубь, что только особым указом парламента можно было ее отменить. Бедственность положения усугублялась тем, что торговые ряды, некогда прораставшие между Старым мостом и Площадью по кривой Главной улице, заместил теперь блеск и грохот каруселей, качелей, чертовых колес, кривых зеркал и прочего, призванного торговать исключительно удовольствиями. Был субботний вечер. Небо холодное, легкое, лунное. Но от несчетных приспособлений, соревновавшихся в бесчинном разладе, над ярмаркой дым стоял коромыслом и пар взвихрялся столбами, опадал грибами и осыпался искрами так, будто война началась уже. На три сотни метров выстроились тиры, карусели, балаганы – битье горшков, метание дротиков, три броска за шесть пенсов, призы в бадье с отрубями. Нити, целые аляповатые клумбы мигающих электрических лампочек были заодно с лигроиновыми вспышками заведений поплоше, и все вокруг из-за них мелькало, дрожало, ходуном ходило. Свободным оставался один проход, единственный путь к бегству от этого обморочного, облачного грохота. Я ушел было, но вернулся, бравирюя и убеждая себя, что едва ли уже меня могут пронять удовольствия моего детства, и, злясь, хотя не теряя чувства

юмора, убеждался, что очень даже могут. Руки в карманах серых широких фланелевых брюк, в длинном, свисающем на грудь и на спину шарфе, я вышагивал по проходу. Треск, вспышки, заводная музыка, взвизги, выкрики, уханье деревянного мяча о брезент, стоны пуль на листе железа слегка отодвинулись, стали фоном, от меня отделились. Проход был пуст: еще рано обжиматься за палатками парочкам, пьяные еще не загадили его блевотой. Из-под потускневших от конкуренции огней кинематографа ко мне по тротуару двигалась девушка. Грива, недвижные коленки, чинно переступающие ножки – нет, я не мог обознаться. Да и ничего удивительного, что я ее встретил. Совсем недавно сержант Бабакумб вышел из ратуши в своем живописном наряде, звякнул медным колокольцем, воззвал «Эй! Эй!» и, широко разинув рот на третьем «Эй!», испустил дух. На узком месте нам было не разойтись. Она остановилась против меня, улыбаясь в отвесах дымных столбов.

– Привет, Олли! Чего делаешь в таком ди-иком месте?

– Гуляю. Просто гуляю. А ты?

– Я на выходные тут. Встретить кой-кого надо.

– А, ну тогда пока.

Я двинулся было, хоть мне уходить не хотелось. Она не шелохнулась.

– Ты теперь куда?

– Домой. Тут просто чудовищный грохот!

– Я с тобой.

– Ты ведь встретить кого-то хотела!

Она подняла руку к волосам.

– Для слова сказала. Мало ли.

Мы умолкли и смущенно оглядывали друг друга. Лондон пошел ей на пользу. Несколько миллиметров там, складочки сям, вопрос покроя и ткани, наверно. Кое-чего она поднабралась, поднаторела. Строгий темно-зеленый костюм, полуботинки без каблуков. Прическа небрежная, но в небрежности – обдуманность, ловкость. Уж кое в чем я, по крайней мере, разбирался, и кое-что я увидел. Эви забралась на несколько ступенек вверх по нашей проклятой лестнице.

– Вот узнал про твоего отца. Прими, как говорится.

Эви важно кивнула.

– А теперь-то машина есть у вас, Олли? Про сержанта – все.

– У нас? Нет. – Я сверху вниз широко улыбнулся. – Ты на меня погляди! Я сам дорогой очень!

Эви меня овеяла ароматным смешком.

– Ой, важный какой в этих очках!

Ловко подняла обе руки и сдернула с меня очки. Ночь помутилась.

– Эй! Ну тебя!

– Я так моему боссу делаю, когда... Здрасте, опять прежний Олли.

– Отдай, слышишь? Я же...

– Ладно. Не пыли.

Подошла вплоть, душистая, уверенная, закрепила у меня за ушами дужки. Душа, посвященная химии, зашлась от чего-то знакомого, забытого ради инертных газов и вовсе на них не похожего. Эви легко откачнулась.

– Бобби Пружинкину машину брал.

– Что ж. Я не Бобби, верно?

– Нет. Оно и видно.

Дрогнули кисточки. Она повернулась и двинулась к Площади, я – за нею.

– Все на пианино играешь, да, Олли?

– Так, иногда. Времени нет, знаешь. А ты все поешь?

– Кто? Я? Больно надо!

Мы дошли до Площади. Эви заглянула туда, потом остановилась, повернулась ко мне.

– Ну а вообще-то ты чего делаешь, Олли?

– Моя дорогая Эви. Слишком долго и нудно было бы объяснять...

Тем не менее я за это взялся. Я заговорил о занимавшей меня идее как об уже доказанной. Криптон – то, что называется инертный газ. Но если его как следует раззадорить посредством давления и температуры, пропустить через него электрический разряд – искра пробьет весьма плотное облако криптона вместе с еще одним элементом. И получится совершенно неестественная субстанция, если допустимо такое определение. Так что криптон...

Эви на меня смотрела квадратными глазами.

– Ой-ей-ей, Олли! Ну ты и умный!

Я был приятно удивлен. Лондон определенно пошел на пользу Эви. У меня мелькнула бредовая идея повести ее в лабораторию, но я ее тут же отринул, ибо статус мой там несколько не соответствовал планке, на которую я намекал. Бред нарастал, однако, и, завидя наш флигель рядом с докторским домом, я ее чуть было не пригласил. Но тотчас возобладал здравый смысл.

– О, не знаю! А вот ты, Эви, – ты изумительно выглядишь!

Она вся лучилась под газовым фонарем.

– Олли! А у тебя девушка есть?

Я, улыбаясь, покачал головой и зажал ладонью щеку там, где, кажется, назревал прыщик. Ответ Эви меня озадачил. Она кивнула значительно.

– Да ты и молодой еще чересчур, правда?

– Я старше тебя!

Я призадумался на секунду, нащупал деньги в кармане и остановился на компромиссе, единственно возможном, если я не хотел сразу терять Эви, ее излучение и восхищение. Пока я раздумывал, Эви повернулась на пятках и обшарила взглядом Площадь. Снова приблизила ко мне лицо.

– Но кто-то должен быть рядом!

– В каком смысле, Эви?

– Скучно же одному на свете!

Смелое выступление, учитывая грохочущую возле нас ярмарку.

– Можно зайти куда-нибудь выпить.

Эви открыла кошелек, заглянула. Я ее успокоил. Я уже получил деньги за следующий семестр. Я был богач, притом не постигший покуда банальной истины, что те же деньги не потратишь дважды. Мы двинулись вместе в «Корону». Я придержал для Эви дверь, и она захлопнулась с тугим стуком, отрезав нас от ярмарочного гама. Тут не было запахов снеди, смазки и пота, вспышек, мигания ламп. И хозяйничал добропорядочный, тусклый, но всепроникающий дух линолеума и пыли. По псевдоручной работы коврику мы прошли во второй зал и уселись у стойки на высоких лакированных табуретах. Миссис Минайвер, скрючившись, уронив на стойку руки, разглядывала смутный вид Эдинбургского замка. Моментально раскрюченная порывом профессионального гостеприимства, она выдала Эви ее виски с содовой, бледное пиво мне и скрючилась вновь. Я огляделся. Последний раз я был в «Короне» тогда, почти два года назад, с мистером де Трейси – памятный случай. Сейчас четверо членов муниципалитета, зажав креслами низенький столик в дальнем углу, что-то обсуждали по поводу предстоящего заседания. В другом углу молчала, уныло созерцая свои стаканы, какая-то пара.

– Ну, давай, Олли!

– Поехали.

Один из членов муниципалитета медленно прошаркал в мужскую уборную.

Да, прыщик действительно назревал. Я теребил его в долгом молчании.

Член муниципалитета медленно пришаркал обратно. Минувя миссис Минайвер, что-то бормотнул касающееся погоды. Она с бодрым смехом раскрючилась и скрючилась вновь.

Эви схватила и залпом осушила стакан.

– Еще, пожалуйста, миссис Минайвер!

– Стой, Эви, – давай я...

– Нет.

Пришаркавший из уборной откинулся в кресле, ладонь рупором к уху.

– А? Громче, Джим!

– ... Пока мы не упустили контракт!

– А-а. Да.

Эви уперла подбородок в ладони, тряхнула гривой, повернулась ко мне.

– А неплохо мы жили, да, Олли?

Я механически хохотнул. Эви выпила еще виски с содовой и сказала, как бы набравшись храбрости:

– Да. Неплохо. Хорошо жили. И теперь вот... Как вспомнишь...

Я допил свое бледное пиво и оглядел ножки Эви в чулках. Очень ничего себе ножки. Я протянул пустой стакан миссис Минайвер, она мне опять налила. Бледное пиво было очень ничего себе.

Эви продолжала:

– Все же, кто вместе рос – мальчишки, девчонки...

И послала в мою сторону луч – лукавый и томный одновременно. Я засмеялся и хлебнул как следует бледного пламени. Я тоже кое-что вспомнил и зябко почувствовал, что нельзя пускать события на самотек.

– А Роберт, Эви! Про Роберта не забудь.

Томность утонула в лукавстве.

– Бобби! Моя первая любовь!

Я хлебнул еще, вспомнил малолитражку мисс Долиш и поперхнулся.

– Еще, миссис Минайвер, пожалуйста!

– И мне.

Эви примолкла, глядясь в зеркало за стойкой. Она была очень ничего себе.

– Во вторник.

– Что, Эви?

– Во вторник уезжаю. – Искоса сверкнула на меня улыбкой. – Пока что – передышка. – Схватила стакан, опрокинула. – Еще, пожалуйста!

– Поехали!

– Сперва надо кой-кого повидать, конечно.

– Тебе?! Кого это?

Меня осенила блистательная идея. Я ослабил.

– Кстати, а как Фредди Уилмот?

Эви некоторое время молчала, глядя в стакан. Потом выпила, поставила стакан со стуком.

– Я только из Швейцарии, с боссом своим туда ездила.

Я сверхзначительно ослабился.

– Ну а этот – как?

– Патрик – лапочка. Все говорят. Я его обожаю.

Она вдруг захихикала. Десять секунд – и куда подевалось томное лукавство. Передо мной сидел бесенок. Эви Старого моста.

– Он – все отдать, да мало. Ну прям замечательный!

Высокий табурет качнулся, она уцепилась за стойку.

– Поехали!

– Вздвогнем!

– Пошли заглянем к твоим родителям.

– Ты это брось, Эви.

– Или к доктору Джонсу. Вот мужчина! Надо к ним заглянуть.

– Не думаю.

– Оно и понятно, что в Стилборне столько баров. А то как бы... Жалко, тут Патрика нет. Еще, пожалуйста!

– Прям замечательного.

Эви хихикнула громко.

– Он в постели замечательный. Все говорят.

Разгоряченный жидким бледным пламенем, я не мог уступить ей пальму первенства в нашем состязании остроумии.

– А на самом деле?

Но я, оказывается, плохо знал Эви.

– И на самом деле, – сказала она. – Получше тебя будет.

Урчанье беседы смолкло в углу. Все стихло. Я привстал с табурета и сделал несколько нелепых па возле стойки.

– Мы в постели никогда не лежали, – сказал я с хохотом, естественным, как дерматин. – Никогда! Ты это брось, Эви!

– В постели никогда не лежали, – подхватила она, кивая. – И без постели позже полвосьмого никогда. Ни разу,

ни-ни! Ну, давай!

Я с хохотом поднял стакан. И совершил свою грубейшую стилборнскую ошибку.

– Опрокинули – жопки вверх!

Эви – очень осторожно – поставила на стойку пустой стакан. Заглянула в него, будто ожидала увидеть там муху или что похуже. Мрачная пара, обменявшись кивками, быстро поднялась и удалилась без единого слова. Эви подняла было руку, будто хотела откинуть волосы, но опять уронила. Посмотрела на меня искоса через стойку, оглядела молчащий бар, глянула сквозь стены на город. Выступила кривая усмешка.

– Все началось, – сказала Эви, – когда ты меня ссильничал.

В ушах у меня невыносимо звенело. Все было как в страшном сне. Что тут можно сказать? Простое, решительное, неопровержимое? В самом деле – что я сделал – мы сделали? Четверо членов муниципалитета встали как один и направились к двери мимо раскрючившейся и скрючившейся миссис Минайвер.

– Наверху, на горе, – пояснила Эви громко и обстоятельно. – В зарослях!

– Не правда!

– Добром бы я ни в жисть, – сказала Эви. – Я тебя не хотела. Мне всего пятнадцать было.

Дверь захлопнулась. Мы были одни. Снова меня подхватило течение Стилборна, но на сей раз не шепоток-хохоток. Воды взревели над самой моей головой. Я бухнул стакан, бросился вон и встал под газовым фонарем на углу ратуши. Эви с хохотом встала рядом. Я еле сдерживался, чтоб не вцепиться ей в горло руками.

– Олли, лапочка!

– Уделала меня, да? Хорошо уделала!

– А то.

– И себя уделала.

Она хихикнула.

– Чего? Сразу обоих?

– Только и умеешь, что смеяться, смеяться, смеяться и...

– Крошка Одри. Вот я кто [10].

И качнулась ко мне, лучась. Но молодая луна и газовые фонари – вот и все, что ее освещало. Белая как мертвец, глаза и рот черные, как лакрица.

– А пошла ты знаешь куда!

Она на мгновение застыла. Потом стала серьезно кивать.

– А-а, – сказала. – Так. Хорошо.

Повернулась, пошла, все кивая, остановилась. Повернула обратно.

– Олли!

– Что?

– Ты уж прости. Только...

– Опоздала немного

И сразу, вдруг, она опять стала прачкой, голова выдвинута вперед, сжаты кулачки.

– Ты! Станешь ты когда взрослым, нет? Это место. Ты. Ты и мамка твоя, папка твой. Вы для нас благородные чересчур, да? У вас ванная. «Я еду в Оксфорд!» А про... про тараканов слышал, и...? Нет? Ладно! Во вторник. И ноги моей больше... Ни за что! Так что болтай себе, смейся. Ясно? Болтай и смейся!

– Черт! Про что мне болтать?

– Болтай-болтай.

– Да про что?

Она с ненавистью выдохнула мне в лицо:

– Про нас с папкой.

Повернулась и нестойко двинулась через Площадь. Только после эркера мисс Долиш снова овладела походкой. Я стоял, смятенный, пристыженный, впервые, несмотря на злость, по-иному увидев Эви в ее ежечасной битве за опрятность и красоту. Будто этот объект разочарования и страсти вдруг принял атрибуты личности, а не вещи. Будто я – будто мы – могли бы заняться чем-то, музыкой например, вместо неотвратимых, неизбежных сражений. Чувство это было так сильно, несмотря на мою ярость, что я крикнул пустой Площади:

– Эви!

Она опять ровно переступала ножками. И поскольку из-за шума ярмарки она могла не услышать меня, секунду меня подмывало броситься за нею, аж в темную пасть Бакалейного тупика. Но я увидел, как засветилось папино окно, как мамина тень прошла по занавескам. И еще я увидел – или мне показалось – взгляд Эви и взмах расслабленной пятерни над левым плечом. И она ушла. Я потерянно поплелся домой – думать про эту неоткрытую личность и про странную ее оговорку.

П

После окончания своего первого оксфордского семестра я поездом поехал в Барчестер, а там сел в автобус до Стилборна. Я проторчал в Барчестере, сам не знаю зачем – бродил вокруг собора, пасся по книжным лавкам, – пока не спохватился, глянув на часы, что, если не потороплюсь, пропущу последний автобус. Я на него успел и зарылся в книжку. Будто пытаюсь таким способом что-то продлить. Это «что-то» был никак не Оксфорд. Химия проглотила музыку и, к моей досаде и удивлению, отнимала все время. Я еле выкраивал небольшой досуг для тайного порока музыки, правда весьма увлекательного. Вдобавок я рвался поскорей увидеть родителей, продемонстрировать модную ширину серых брюк, все про все рассказать. Эви уехала, Имоджен вышла замуж. Я был настоящий студент с соответственным пониманием долга и ценностей, без забот и печалей.

И – вот поди ж ты – углубился в книжку.

После старых обвалов

Новый идет водопад.

Протяженность без шири.

Место без меры,

Молитва без слез.

Нет, увольте, это не для меня, как он ни прекрасен. Я был ученый с одним тайным пороком. Зря я замахнулся на второй – он был мне уже не по зубам. Я отложил книжку, приготовившись ко всему, а меж тем автобус, по-коровьи качаясь, одолевал в темноте Старый мост. Я пронес два своих чемодана от остановки к нашему флигелю и обнаружил, что там темно. Нашаривая под ковриком ключ, я услышал несущийся через Площадь от ратуши мамин голос. Она меня крепко и нежно расцеловала. Мы не успели еще расположиться, а я уже понимал, что происходит, ибо увидел папу со скрипкой в черном деревянном футляре. Я как бы разом снова вступил в ту область, где все ясно без слов, и когда папа включил свет, на маме действительно оказалось парадное серое платье, золотая брошка и легкие розовые пятна под каждой скулой. Она смеялась, сверкала, сияла. И без папиной скрипки и темно-серого костюма я мог догадаться, что SOS – Стилборнский оперный союз – переживает свое ежедвух-, не то трехлетнее воскрешение. Для мамы, по-моему, это был всегда звездный час. Она завладевала пианино. И с капельмейстером офицерского колледжа на тромбоне, бамстедским приходским священником на контрабасе, наборщиком на альте и папой в качестве первой (и единственной) скрипки она задавала тон в театральном оркестре. Скучность этого оркестра не объяснялась просто такими понятиями, как талант – не талант. Будь в Стилборне куда больше людей, владеющих инструментами, для них не нашлось бы места. Та же незадача скрывалась за масштабами труппы. И «Сельская девчонка», «Веселая Англия», «Сирень цветет» и «Чу Чин Чо» исполнялись в весьма стесненных условиях. Но будь у нас, предположим, бездна талантов, гигантская сцена, оркестровая яма и зрительный зал – все равно оставалось бы всепобеждающее ограничение – социальное. Замкнутая среда колледжа была для нас недостижима. И старшина О'Донован помогал нам исключительно потому, что там он был сбоку припека. В свою очередь многие – добрая половина населения Стилборна – отсеивались механически, обитая в таких местах, как Бакалейный тупик и Мельничная, и будучи оборванцами. Хоть Эви пела и могла любого свести с ума, она не имела ни малейшего шанса даже постоять в хоре. Искусство объединяет. Но не до такой же степени. Так что все делалось горсткой людей, обведенных незримой чертой. Никто и не заикался об этой черте, но помнили все.

Наш SOS родился из подспудно бродившего в обществе духа. У нас не было ритуалов, кроме ежегодной процессии мэра. Ни речей, ни парадов. Сами себе трагедия, мы и не подозревали, что нуждаемся в катарсисе. Шоковую терапию нам заменяли «Международные новости». Но время от времени беспокойный дух воспламенялся от сжатия, и мы беспокойно ворочались во сне. SOS, мирно почивший после очередного сезона, пробуждался и зализывал раны. Их было предостаточно. После профессиональных встреч лишь немногие члены труппы не прерывали отношений. С роковой неизбежностью желание играть, увлекать, впечатлять порождало пышно цветущую зависть, ненависть, склоки и обиды, которые приходится таить в обыденной жизни. Постановка изящной оперы уничтожала половину нашего потенциала одним махом, потому что всегда находились двое-трое, столь оскорбленных неполучением роли героя или героини, что категорически просили их более не беспокоить. Или – еще того хуже – мрачно мирились с второсортным жребием и вступали на путь театрального саботажа. К концу длившихся у нас три вечера выступлений добрая половина труппы чувствовала себя столь смертельно обиженной, что клялась в жизни более не подвергать себя подобным унижениям. Вот почему SOS не мог функционировать ежегодно. Какой-то период требовался, чтоб затянулись шрамы. Распри затихали, враги снова раскланивались при встрече. И тогда уж – однако отнюдь не в соответствии с графиком – снова начиналось брожение. Собирался комитет, возрождался союз, анализировался понесенный в прошлый раз урон, а затем объявлялось, что в поддержку такой-то и такой-то благотворительной акции, скажем доктора Барнардо [11], SOS представит в ратуше такой-то и такой-то мюзикл. И, завидев на маминых скулах эти красные пятна, я сразу понял, что не об Оксфорде сейчас будет речь. Возбужденная мама сама хотела поговорить.

– Ну и что же у нас на сей раз, мама?

– Можно, наверное, чайку попить, – сказала мама. – Поставишь чайник, папочка, да? Господи, я совершенно... Это такая прелесть, знаешь, Оливер. У нас никогда еще такой прелести не бывало!

Она напела несколько так-тов, расхохоталась.

– Я спрашиваю, как это на сей раз называется?

– "Червонный король". Местами упоительная музыка. Ты оценишь.

– Я не пойду. Не волнуйся.

– Ну, мы это еще обсудим, – сказала мама. – Знаешь, детка, у нас ведь сейчас профессиональный режиссер. Ты, наверное, слышал про него в Оксфорде. Мистер де Трейси. Мистер Ивлин де Трейси. Я уверена, ты про него слышал.

– Ни сном ни духом.

– Он очарователен. Сразу преодолел все сложности. Подумай – профессиональный...

– Сложности?

– Ну, с приемной мэра. Мистер де Трейси взял и сказал: «Ребятки, нам просто придется изменить маршрут. Вот и все». Папочка, ты ситечко забыл!

– Так что там с этой приемной?

– Ты не поверишь. Он заявил: «Нет». И с тех пор она стоит запертая.

– Но не можете же вы...

– Мистер де Трейси повесил циклограмму на полметра дальше и устроил так, чтоб труппа ходила там.

– Но почему же?..

– Вот-вот, ты спрашиваешь. Естественно. Папочка, я надеюсь, ты поставил чайник? Понимаешь, Оливер. Это из-за дочки. Ее просто оставили с носом.

– Не может быть!

– Представь!

– Нет!

– А я тебе говорю, Оливер. Так что ты понимаешь.

Я понял. Без дочери мэра миссис Андерхилл труппа была непредставима. Много лет назад она сезон продержалась на профессиональной сцене, и у нее был поставлен голос. С тех пор она сделалась нашей бессменной инженером, что многое упрощало. Я видывал ее в персидских шальварах, японском кимоно, елизаветинских фижмах. Голос ее был создан для «Друри-лейн» [12], а нашу бедную ратушу сотрясал как обувную коробку. Выйдя как-то из лесу, спускаясь к Стилборну и услышав ее верхнее до, я даже погрешил на пациента из соседней больницы. Если комитет отверг услуги миссис Андерхилл – логично, что престарелый

родитель запретил SOSy пользоваться приемной и, естественно, тянул с этим извещением, пока оно не сделалось роковым.

– И как же вы?..

– С черного хода, конечно. Мне говорили – жуткая теснота. На арьерсцену слева, – сказала мама, гордо смакуя терминологию. – Только так. Каждый, кто зайдет справа, задевает циклоرامу. Даже видно иногда, как она колышется.

– Какое «иногда», – сказал папа. – Младший Джонсон сегодня чуть ее локтем не проткнул.

– Но как же... То есть?

Мама поняла.

– Ну, ей уже под шестьдесят, детка, а все на свете имеет конец, правда? Пришлось уступить место кой-кому помоложе.

– И какую же она теперь играет роль? Ведьмы?

– Уж не думаешь ли ты, что Элси Андерхилл станет играть кого-то, кроме героини? Мой дорогой Оливер! Она просто хлопнула дверью! Да, скажу тебе, это было нечто! Некоторые считают, что Клеймор был не совсем тактичен...

– Клеймор? Так он еще в героях?

Норман Клеймор, владелец и издатель «Стилборнского вестника». И теперь муж Имоджен. Сердце у меня екнуло, когда я понял, кто сменил миссис Андерхилл в качестве инженю.

– Они – прелестная пара, детка, пусть даже голос у мистера Клеймора чуточку слабоват...

– Абсолютнейший комар.

– Ну и можно, наверное, согласиться, что внешне он не вполне Айвор. Но миссис Клеймор – то есть Имоджен Грантли, – вот уж кто действительно настоящая принцесса.

Это я мог себе представить. И устремился мыслью обратно в Оксфорд.

– У нее голос, – сказал папа, – как у...

– Да-да, папочка! Выпей еще чашечку.

Имоджен еще и пела. Природа явно перестаралась. И я решил завтра отправиться в долгую-долгую прогулку, чтоб не слышать ее и снова не влипнуть.

– Воображаю, какая давка на этом вашем черном ходе!

– О, мы в оркестре, конечно, не очень знаем, что там происходит. Но ты нам расскажешь, детка.

Я рассеянно кивнул, думая про Имоджен. Потом:

– Что ты сказала, мама? Я? Расскажу?

– Это в самом начале, детка. Одна сценка...

– Постой! Минуточку!

– Ты бы хоть дослушал, что я хочу сказать!

– Послушай, мама...

– Одна сценка. По-моему, в Венгрии или в Руритании [13], – словом, где-то такое. Ресторан. Она не знает, что он переодетый король, он не знает, что она переодетая принцесса Пафлагонская. Очень остроумная идея. И как он додумался!

– Нет, мама, нет! Я тебя предупреждаю, мама...

– И цыган, конечно, им играет, и тут они влюбляются...

– Нет!

Я заметил, что папа не смотрит ни на меня, ни на маму и так смотрит в чашку, будто читает в ней свою судьбу.

– Только представь, – сказала мама. – Он играет, а у них такой трогательный разговор, и король ему дает набитый золотом кошелек, и он уходит, и тут оркестр тихо-тихо подхватывает тему цыгана, и он – то есть это уже король – начинает петь, сидя с нею рядом... – И моя вдохновенная мама запела на пределе страсти:

– "В сердце моем, о дитя, расцветает заря!"

– Не хочу!

– Послушай, Оливер, – сказала мама, слегка отрезвев. – Не изводи меня! У нас младший Смит изображает цыгана, а папочка за него играет. Но что толку. Он просто смычком в такт музыке не умеет водить. И я вчера предложила мистеру де Трейси. Завтра на заключительном представлении, сказала я, мой сын Оливер с удовольствием нам поможет...

Я в отчаянии ухватился за соломинку.

– Пойми же, мама! Я давно не играю на этой проклятой скрипке! Да и как ты себе представляешь – могу я, по-твоему, до завтра разучить музыку?

– Но этого и не требуется, детка.

– Так что же тогда делает этот ваш цыган? Пюпитр за собой таскает и «Цыганские романсы»?

– Это та музыка, которую ты играл перед тем, как уехать в Оксфорд, – сказала мама. – Помнишь, как она тебе нравилась, детка, ведь ты играл с утра до вечера, ежедневно, три недели! И по-моему, ты дивно играл.

Я разинул рот, потом закрыл. С упреком глянул на папу, но он продолжал изучать свою чашку. С упреком глянул на маму. Но она, снова безмятежная, ликующе улыбалась.

* * *

Назавтра, в субботу утром, я покорно поплелся с мамой в ратушу. Мы вошли в большую дверь с западной стороны, и там нас ждали трое. Мистер Клеймор с Имоджен сидели на сцене за столиком. Я был милосердно избавлен от официальной церемонии знакомства, потому что, когда я следовал за деловито устремившейся через зал мамой, футляр моей скрипки растянулся и содержимое вывалилось на пол. Я водворял его на место, потом стоял со смычком в одной руке и скрипкой в другой, пока меня наконец заметили. Я смотрел на

Имоджен, и она улыбнулась мне своей чудной, морщащей губы улыбкой, но ничего не сказала, потому что говорил мистер Клеймор, и голос его, как всегда, мне напомнил скрежет ногтя по стеклу.

– Вот и он, Ивлин. Нам ведь требуется всего-навсего пробежать этот кусочек диалога, не так ли?

Сперва в голове у меня пронеслось, что это уже текст пьесы, потому что появившаяся из-за кулис слева от меня фигура была костюмирована.

– Мистер де Трейси, – сказала мама. – Это мой сын Оливер. Оливер, детка, это мистер Ивлин де Трейси.

Мистер де Трейси отвесил низкий поклон, но не сказал ни слова. Только улыбался мне со сцены сверху вниз и ждал. Очень длинный и тощий. В узких клетчатых панталонах и длиннущем, чуть не до колен, пиджаке. Плюс отложной воротник и черный фуляр над расшитым жилетом. Странно, и что было делать такой фигуре в Венгрии или Руритании? Очень мило с его стороны, что он не только поставил пьесу, но еще согласился играть.

Мистер Клеймор, однако, начинал нервничать, что было непонятно в субботу утром. Номер в типографию отправляли вечером в четверг. Мама повернулась ко мне:

– Ты настроился, детка?

Я нырнул под зеленый суконный занавес, отделявший оркестр от зала, и взял на пианино ля. Пока я настраивал скрипку, мистер Клеймор беседовал с мистером де Трейси.

– Кто этим займется, Ивлин, я или вы?

Тут я заметил любопытную вещь относительно мистера де Трейси. Он сотрясался. Он ничуть не изменил выражения на своем длинном лице с туманной улыбкой, неизменной улыбкой, чуть размыкающей губы, но длинное тело сотряслось – три-четыре раза – и стихло. Сотрясение включало и ноги, имевшие тенденцию выворачиваться в коленках.

– Вы, Норман, я полагаю. В вас пропадает такой профессионал!

Мистер Клеймор надул щеки.

– Что вы, Ивлин, старина, просто я хочу вас избавить от лишних трудов.

– А старый спец вроде меня всегда рад поучиться, Норман. У вас бесподобный нюх.

Мистер Клеймор удовлетворенно расслаился.

– Не скрою, я даже сам иногда удивляюсь... Однако. Дайте-ка мне сообразить.

Он соображал, склонив подбородок на белую руку. Мистер де Трейси продолжал меня озирать со своей туманной улыбкой. Глаза, огромные, два старых пожелтелых бильярдных шара, и на каждом очко – зрачок. Волосы на макушке все вылезли, кроме скромного черного хохолка, натренированного склоняться к затылку. Улыбка была загадочна и дружелюбна.

Мистер Клеймор выпрямился на стуле.

– Тэк-с! Давай сюда, мальчик!

Я взобрался на возвышение и очутился в метре от Имоджен.

– Сцена такова, – сказал комариный голос. – Вы видите богатых посетителей и подбираетесь со своей музыкой – играя, играя – все ближе, сюда. Играйте себе на здоровье, пока не заговорю я. Тут вы резко сокращаетесь – стихаете, стихаете, – пока я не брошу вам этот кошель с золотом. Вы кланяетесь низко, оч-ч-чень низко, и ретируетесь задом. Ясно?

На Имоджен был оранжевый пуловер и светло-зеленая юбка. Я разглядел золотистый ободок под искрящимся обручальным кольцом.

– О Боже! Он не слушает! Смотрите, Олли...

– Очень трудно так вводиться, – сказал мистер де Трейси тихо из-за моей спины. – Он, полагаю, робеет. Я бы непременно робел.

– Вы слышали все, что я сказал?

– Да, мистер Клеймор.

– Норман, мне кажется... не знаю, как вам? Он должен знать, откуда выходить. Это бы облегчило задачу, не так ли?

– Он выйдет оттуда же, откуда выходил этот кретин Смит, естественно.

Голос у мистера де Трейси был прелестно чист и нежен, и он отпускал его мелкими дозами, по каплям, сознавая, очевидно, всю его драгоценность.

– Может быть, мо-о-ожет быть, он не знает, что Смит выходил на сцену в центре, вот тут.

Мистер Клеймор приложил кулак ко лбу и закрыл глаза.

– Значит, он не сидел вчера вечером в зале!

Мама заговорила из темноты:

– Он очень поздно приехал из Оксфорда. Сдавал коллоквиум, знаете! Им остались очень довольны, правда, Оливер?

Мистер Клеймор переместил кулак на стол и открыл глаза.

– Меня уверяли, что он будет сидеть в зале, чтоб почу-у-увствовать вещь!

Мистер де Трейси посодрогался и стих.

– Мы уж постараемся, Норман, старина.

– Тэк-с. Значит, юный Оливер. Вы начинаете играть, когда я говорю: «Мне уже кажется, что это место самое очаровательное на всем белом свете». Ясно?

– Да, мистер Клеймор.

– А когда я говорю: «Музыка говорит вам про то, о чем я не в силах, о чем я не смею сказать!» – тут вы сокращаетесь.

– Да, мистер Клеймор.

Я отступил за холщовый задник. Между ним и висевшим в качестве циклоамы сукном было примерно полметра. Имоджен сказала своим чудным голосом:

– Какое странное, очарованное место. Оно пугает меня!

– Мне уже кажется, что это место самое очаровательное... нет, погодите. Мне уже кажется, что это место самое очарова-а-ательное на всем белом свете!

Я вышел на сцену и начал играть, но тут же и перестал, потому что мистер Клеймор вскочил и махал руками.

– Стоп! Стоп! Стоп!

Мистер де Трейси обнял меня за плечи и похлопывал ладонью по правому локтю.

– Норман, старина. Лучше, пожалуй, им займусь я. Исключительно для того, чтобы вы поберегли ваш голос и ваши силы для спектакля. Мм?

Мистер Клеймор рухнул на стул и саркастически расхохотался.

– Как скажете, Ивлин!

Он барабанил пальцами по столу, пока Имоджен не прикрыла его руку своей ладонью, взглянув на него с пониманием. Мистер де Трейси ронял свои чистые, нежные слова мне в ухо:

– Вы так дивно играете, милый мальчик, что все у вас прекрасно получится. Не правда ли? Мм? Но если – если! – вы выходите этим великолепным размашистым шагом, вы оказываетесь здесь, у самой оркестровой ямы, пока не успели еще сыграть ни единой ноты для короля и принцессы, которые сидят – там. С другой стороны, если вы делаете даже единственный свой великолепный размашистый шаг (рука его нежно меня похлопывала) – вы уже не выглядите подобострастным, раболепным, заискивающим скрипачом-цыганом, не правда ли? Мм?

– Да, сэр.

– Зовите меня Ивлин, милый мальчик. Все зовут. А я буду звать вас Оливер. Мм? Итак, пробуем разок-другой войти. Вы делаете много малю-юсеньких шажков, понимаете, почти стоя на месте. И сцена сразу кажется зрителям больше – как ни странно! Великолепно! Так!

Тем временем я был так пригнут долу, что хорошо видел коленки мистера де Трейси и поражался проворству и свободе, с какими двигались вбок его суставы.

– Оливер, мой милый, и не спорьте! Вы наверняка уже играли на сцене! Мм?

– Нет. Честное слово.

– Даже в школе?

– Меня пробовали, но я провалился.

– Сударыня, поздравляю вас с таким сыном.

В зале незримо хохотала мама.

– О мистер де Трейси! Уж я-то...

– Природный талант плюс великоле-епное исполнение на скрипке. Нда-с. Мы готовы?

Мистер Клеймор снова саркастически расхохотался.

– Мы давно готовы!

– Так, Оливер, мой мальчик.

– Мне уже кажется, что это место самое очаровательное на всем белом свете!

Я переступал крошечными шажками и играл в ожидании сигнала для пианиссимо, но его не последовало. Зато мистер Клеймор вскочил и размахивал руками. Я перестал играть.

– Но это невозможно! Абсолютно невозможно! О мой Бог!

– Я ждал, когда вы скажете...

– Я все сказал! Я про-кри-чал!

На сей раз рука мистера де Трейси обвила плечо мистера Клеймора.

– Норман, старина, мне придется вас приструнить. И призываю вас смириться, мм?

– Мой Бог! Мой Бог!

– Это все темперамент. Успокойтесь, старина. Ну?

– Мой Бог!

Наступила долгая пауза. Мистер де Трейси похлопывал ладонью. Мистер Клеймор отнял кулак ото лба и открыл глаза. Имоджен улыбнулась ему своей чудной, морщащей губы улыбкой. Мистер Клеймор уронил голову на плечо мистери де Трейси, схватил его за левый бицепс и крепко стиснул.

– Простите, Ивлин, старина.

– Ну-ну, Норман, старина. Я вот думаю. Может быть, нам прерваться?

– Нет-нет.

– Вы уверены, что вы...

– Да-да.

Мистер Клеймор откинул голову, встряхнул волосами и проследовал к своему месту.

И опять Имоджен положила на его руку свою ладонь. Мистер де Трейси, улыбаясь, повернулся ко мне.

– Так или иначе, юноша, нам надо – убавиться. Нам требуется – ну, как это?

Он взялся рукой за подбородок, впериw оба очка на желтых бильярдных шарах во тьму зала.

– Нам требуется... – он отнял руку от подбородка и, отведя наотлет, очертил ею полукруг, что-то незримое

держа между большим и указательным пальцем, – убавить звук!

Комариный голос пропел за столиком:

– У его отца есть ну-как-его-там в скрипке.

Мистер де Трейси распростер руки.

– Да! О чем я думаю! Сурдинка! Именно!

– Вот еще! – крикнула мама из темноты. – С какой стати Оливеру пользоваться сурдинкой! В жизни не слышала такой чуши!

– Мама, послушай...

– Спокойно, Норман, спокойно. Предоставьте это мне. Поберегите силы для спектакля. А вы, сударыня, – мистер де Трейси, склонив лицо, туманно улыбался темноте, – объясните, почему бы вашему сыну не воспользоваться сурдинкой?

На сцену взлетел вредный мамин голос:

– Да потому что это все увидят!

– Резонно, Норман, старина.

– Никто ничего не увидит, Ивлин, все будут смотреть на короля и принцессу. Он абсолютно эпизодичен.

– Все – безусловно! – будут смотреть на Оливера, мистер Клеймор! И слушать его! Знаете, если у вас такой голос, что вас не расслышать из-за одной-единственной скрипки в самом дальнем углу сцены...

– Единственной скрипки! – пропел мистер Клеймор. – Мальчишка гремит, как целый духовой оркестр!

– Он любезно согласился для вас сыграть, и я не желаю...

– Спокойно, Норман, старина. Сядьте. И вы тоже, Имоджен, моя радость. Сударыня...

– В этой постановке вообще не чувствуется никакого уважения к музыкантам!

Мистер Клеймор стукнул себя по лбу, потом тяжело навалился грудью на стол.

– Я так устал. О Боже! Так устал.

Мы все молчали. Потупясь в смущении, я увидел быстро и широко распахивавшиеся и смыкавшиеся колени мистера де Трейси и испугался, как бы он не рухнул. Я проблеял не очень уверенно:

– Я вот думал... есть такой... фокус, что ли...

Мистер де Трейси, не прерывая улыбки, слегка приоткрыл рот и глубоко запустил в меня свои меченые шары.

– Да-да, мальчуган? Оливер?

– Именно что фокус. Только мне пенс нужен. Лучше старый. Ага, вот этот пойдет. Между грифом и порошком. Понимаете, если я... придется чуть приспустить колки. Значит, если я – вот так. Сую пенс сюда, под струну ля,

потом под ре и потом под соль. Так. Потом, конечно, я снова настроюсь. К ми это почти не относится, но ми не очень и нужна для... этой штуки. Вот. Погодите секундочку, я настроюсь.

– Никто ничего не увидит, мистер Клеймор! Надеюсь, вы довольны! И ни один человек вообще не услышит Оливера.

Мистер де Трейси молитвенно смотрел на меня:

– Гений. Истинный гений.

– Так устал. О Боже.

– Ивлин, мне кажется, с Нормана хватит...

– Имоджен, дражайшая, милый друг, скрипка цыгана – это важно. Норман, старина, я вынужден снова вас приструнить. Ну! Еще разок. И потом – мило выпьем. Готовы, Оливер, мой мальчик?

– Мне уже кажется, что это место самое очаровательное на всем белом свете.

Выворачивая голову до упора и практически зарыв ухо между струн, я кое-как ухитрялся производить некоторый писк. Другое ухо таким образом успешно улавливало мистера Клеймора. Два комара. Меня уже начинал затягивать феномен этой призрачной игры, но я не успел еще войти во вкус, как мистер Клеймор вытащил из кармана мешочек и высоко подбросил в моем направлении.

– Вам надо ловить это, мальчуган, – сказал мистер де Трейси, и его обычный голос, мягкий и тихий, громом прогудел среди комарья. – Если упустите, ползать придется.

– Да, сэр. Ну как?

– Дивно. Прелестно.

– Я его совершенно не слышала, – кричала мама из глубины зала. – Ни единой ноты!

Мистер Клеймор сверкнул взором во тьму.

– Это интимная сцена, – пропел он. – Вы еще будете говорить, что и меня не слышали!

Мама весело расхохоталась.

– Ну, честно говоря...

– Ивлин, старина! Идея! Мы же его можем испо-о-ользовать! Чтоб оживить ту большую сцену – перед самым Великим Дуэтом! Помните?

– Да-да, старина. Но едва ли он может быть цыганом, верно? То есть во дворце!

Я молча стоял со смычком и скрипкой, покуда решалась моя участь.

– Ведь так и просится! В конце концов, по крайней мере двенадцать пар придворных, лордов и леди, участвовали в первоначальной постановке...

– Это идея, старина, это, бесспорно, идея.

– Он может, например, быть стражником. Встанет по стойке «смирно», обнажит меч. Отсалюует и уйдет.

– Где вы его хотите поставить?

– Здесь? Нет – там! Или в центре, в глубине сцены, против окна?

– Я думаю – справа, на авансцене. Станьте тут, пожалуйста, мальчуган.

– Ивлин, старина, когда я видел в этой роли Айвора, он отпускал придворных жестом – вот так. Но при единственном стражнике я, пожалуй, лучше скажу что-нибудь, верно? Как вы считаете?

– Мы это еще обсудим, Норман. В рабочем порядке. В каком он будет костюме?

– Пусть он будет гвардейцем, – сказала мама. – Он будет дивно выглядеть в шлеме или что там они носят.

– Безусловно, сударыня. Но – увы! Все пять мундиров заняты в хоре. И выстроятся с дамами, ожидая финала.

Мистер де Трейси снова распростер руки, склонил к плечу голову, по очереди нам улыбнулся. И содрогнулся слегка.

– Ничего не попишешь.

Я облегченно вздохнул. Но тут же услышал, как мама спешит через зал к зеленому занавесу.

– Мистер де Трейси, мы что-нибудь безусловно придумаем!

– Мама, мама...

– Ах, сударыня, мы бы и сами рады...

Мистер Клеймор стукнул себя по лбу.

– Идея. Мысль.

– Да, Норман, старина?

– У меня ведь... Я вам показывал заметку о моем Эссексе?

– Показывали, старина.

– Это на Барчестерском карнавале, – сказала Имоджен, несколько оживляясь. – Тысяча лет истории. Норман был изумителен.

– Ну так вот! Я ему это одолжу, и мы сделаем из него бифитера [14].

– Согласен, камзол и лосины – для бифитера в самый раз. Но у него же еще и шляпа, старина.

– У меня есть именно то, что надо, мистер де Трейси. Моя старая черная широкополая шляпа!

– Послушай, мама, по-моему, мне...

– Минуточку, Оливер. Я сегодня же сделаю ей бумажную оторочку и помпончик пришью.

– Прелестно. Великолепно!

Мистер Клеймор барабанил пальцами по столу.

– Может быть, мы это провентилируем в гардеробной?

– Но есть еще и цвет, старина. Бифитер же должен быть красный с черным, правда?

Мистер Клеймор расхохотался.

– Мы, между прочим, в Венгрии. И венгерский стражник вовсе не обязан быть тех же цветов, что английский бифитер, не так ли?

– Обо всем-то вы подумаете, Норман. Хотя – погодите. Он же должен держать алебарду. Эссекс, мне кажется, не носил алебарду?

– Ну конечно же нет, Ивлин, – пропел мистер Клеймор. – Вы просто издеваетесь надо мной! У меня был меч, конь, целый отряд слуг!

Мистер де Трейси туманно ему улыбнулся.

– Семеро моих слуг с покорной готовностью... [15].

– Даже больше. Но – действительно загвоздка. Алебарды у нас нет.

Я начал ненавязчиво ретироваться.

– Значит, ясно. Я только...

– Погодите, Олли. Генри Уильямс. Вот кто нас выручит. Да. Я поговорю с ним по дороге домой. Он нам мигом соорудит алебарду.

– По-моему, – сказала мама из-за зеленого сукна, – по-моему, у бифитера на туфлях тоже помпончики...

– У вас будет картинка, сударыня, я уверен.

– Ах да! – заходясь веселым смехом, вскрикнула мама. – Есть, есть – у Оливера в Детской энциклопедии!

– Мама!!! О Господи...

– Так-с, – пропел мистер Клеймор. – Вы можете после обеда взять у меня костюм, Оливер, и заберете алебарду у Генри, как только она будет готова. А теперь разработаем сцену.

Я слез вниз и оставил там свою скрипку, смычок и свой пенс. Хотел пронзить маму свирепым, пасмурным взором, но в зале было слишком темно. Когда я вернулся, мистер Клеймор и Имоджен сидели посреди сцены друг против друга, так задрав головы, будто переглядывались через забор. Мистер де Трейси изучал швабру. Потом подал мне.

– Вот вам алебарда, мальчуган. Справа, на авансцене. И так будете стоять всю последнюю сцену за исключением финала.

– Ивлин, старина, я же должен что-то сказать! Пожалуйста, дайте мне слова!

– А вы не хотели бы ограничиться жестом, как Айвор?

– Ага, знаю, Ивлин! Как там? «Но погодите, ваше королевское высочество, мы не одни...» – Повернулся и выбросил мне в лицо руку.

– Как величаво, дивно, старина. Редкое понимание театра. Айвер [16] сам не придумал бы лучших слов!

– И тут он, конечно, должен отдать честь.

– Интересно, как вы будете отдавать честь алебардой?

– Пусть лучше опустит ее концом к полу. Попробуйте, юный Оливер! Осторожно! Господи! Вы мне чуть глаз не вышибли!

– Я думаю, – не дрогнув коленками, сказал мистер де Трейси, – я думаю, лучше ее не опускать, потому что тогда она пересечет всю сцену. Может быть... позвольте мне, Оливер, мой мальчик. Стойте – вот так. И когда король к вам подходит – так величаво, дивно – и говорит, вы стойте та-ак и делайте та-ак. Да? А далее вы повернетесь и удалитесь – вот тут – и мы еще раз увидим ваш великолепный размашистый шаг, да? Ну, начнем!

– Оставь нас, любезный!

– Ах нет, нет, нет! – крикнула мама, посмеиваясь. – Не может он сказать «любезный»! Король! Бифитеру!

– Какое вы звание предпочли бы, сударыня?

– Может быть, генерал? – Мама еще смеялась. – Чем плохо? А?

– Я не собираюсь называть генералом какого-то мальчишку!

– Он в самом деле для генерала, пожалуй, несколько юн, старина. Оливер, мальчуган. Какое вы предпочли бы звание? Мм?

– Не знаю. Я бы...

– Я назову его – сержант. Вас это устроит, сударыня? Сообщите нам свое мнение!

– Ах, при чем тут я, мистер Клеймор! Мое дело – исключительно музыка. Но если вы меня спрашиваете, мне кажется, уж скорее полковник.

– Полковник! Ха! Это он – полковник?

– Осторожно, Норман, старина.

– Полковник!

– Как насчет майора, старина, мм? Подойдет вам майор, мальчуган?

– Пусть майор, очень хорошо – майор, да, Оливер?

Мистер Клеймор прошел три шага к краю сцены. Уперев в бока кулаки. Бледный, потный, трясущийся.

– Сударыня, – пропел он. – Вы только что изволили заметить, что ваше дело исключительно музыка. Вот и ограничьтесь ее пределами!

Мама зашлась звонким, серебристым смехом.

– Я-то музыку хоть умею читать, – сказала мама, – и не нуждаюсь в том, чтоб мне ее разобъясняли ноту за нотой!

Молчание было зловещим. Мистер Клеймор повернулся на пятках и медленно проследовал в глубь сцены налево, пока, оказавшись в углу, чуть не проткнул носом рисованный задник. Я в тоске разглядывал мою швабру. Имоджен все сидела, все улыбалась какой-то своей тайне вечной улыбкой сивиллы. И длилось молчание.

Вдруг мама бросилась к пианино, отпахнула крышку, громохнула по клавишам. Даже в таком тусклом свете я видел, что она вся трясется, как мистер Клеймор.

– Пошли, Оливер!

– Куда?

– Домой, конечно. Куда же еще? В зоопарк?

Мистер де Трейси вышел на середину сцены. Он обнимал нас всех, от маминой прыгающей брошки до кудряшек на затылке мистера Клеймора, – улыбкой и жестом бесконечной нежности и сочувствия. Но он ни слова не успел сказать, а мистер Клеймор уже пел рисованному заднику:

– Больше никогда! Нет! В жизни! Клянусь, никогда-никогда!

Мама бухнула крышку на клавиши.

– И я вам клянусь, мистер Клеймор, – никогда! Ни за что! Идем, Оливер!

Мистер де Трейси качал головой, улыбаясь нежно.

– Артисты – артисты до мозга костей! Мм? Ну, ну же, ребятки! Имоджен, дражайшая! Мм? Как часто я видел такое! Перенапряжение, малая искра и – мм?

Мама стояла, обеими руками вцепившись в пюпитр, искоса глядя на сцену.

Мистер Клеймор пел:

– Никогда! О, никогда-никогда!

– Послушай, мама, может, хватит?

– Имоджен, дражайшая...

– Я хочу есть, Норман. Ну пожа-а-алуйста, милый!

– Артисты до мозга костей...

Опять была долгая пауза. Мама вдруг расхохоталась, иначе, тоном ниже, и снова смолкла, глядя на пианино.

– Ну, мама, пусть называет меня хоть теткой Чарлея [17], если ему от этого легче!

Мистер де Трейси расхохотался раскатисто, обеими руками и веселым лицом призывая нас всех присоединиться.

– Придется мне еще раз вас всех приструнить. Мм? Я настаиваю! Кто у нас режиссер? Мм? Сударыня? Оливер? Имоджен, дражайшая, очаровательная? Норман, старый воитель? Вы не можете вынести все – все! – на этих широких плечах!

Пауза была уже короче. Мистер Клеймор слегка отвернулся от задника и проговорил, задыхаясь:

– Капитан. Я назову его «капитан». «Оставьте нас, капитан». Так я скажу.

Мистер де Трейси обернул меченые шары к залу и послал туда улыбку.

– Мм?

– Мне это совершенно безразлично, мистер де Трейси. Я ограничиваюсь пределами музыки. Поступайте как знаете. Больше я ни слова не скажу.

Мистер Клеймор повернулся на пятках, сжал кулаки, открыл рот. И закрыл. Стоял и смотрел. Мистер де Трейси продолжал улыбаться, ласково, нежно.

– Чудно! Великолечно! Договорились! А теперь – немножечко выпьем! Норман? Оливер? Дамы?

– Благодарю вас, мистер де Трейси. Но я до таких ме-ест не охотница...

Пристраивая швабру к двери приемной мэра и предвкушая стаканчик пивка или сидра, я услышал мамино звонкое, непрекращаемое:

– ... как и мой сын!

* * *

После обеда я взял свой костюм цыгана и свой бифитерский камзол с лосинами у мистера Клеймора. Принес домой и примерил. И то и другое было маловато. Хотя мистер Клеймор ростом был примерно с меня, камзол зверски жал в груди, зато, правда, был так широк в талии, что маме пришлось его присборить, чтоб как-то приладить на меня. Костюм же цыгана был сооружен для кого-то вдвое меня короче, а тоньше прямо-таки вчетверо. По этой причине нечто вроде малиновой атласной жилетки лишь кое-как прикрывало мне спину, и единственное, что оказалось впору, был красный вязаный колпак, который мог растягиваться по мере потребности. Он был обшит золочеными бусинами, и треньканье их при каждом повороте моей головы было погромче, пожалуй, думал я не без горечи, чем пение мистера Клеймора и моя придушенная скрипка. Но мама сказала, что все это мне безумно идет. Покончив с примеркой, я пошел в гараж за алебардой. Генри был там, но в офисе, облаченный в костюм.

– Привет, Генри. Сделал алебарду?

Генри повернулся от конторки.

– Ведь как, мастер Оливер. Суббота, время после обеда. Не все всю дорогу отдыхают, верно? Нет?

– А-а...

– Ладно. Сейчас глянем. Минутку.

Он выбрал из связки ключ, слез с высокого табурета и прошел бетонированной площадкой. В главном строении открыл деревянную дверь и ввел меня внутрь. Моя алебарда лежала на скамье, подпертая двумя деревянными

чурками.

– Мама родная. Надо же, вот ведь уродский инструмент! И зачем такое?

– Я отдаю ею честь мистеру Клеймору.

Генри ничего не сказал, и мы, стоя рядом, разглядывали алебарду.

Клинок из листового железа, выкрашенного под серебро. Потом кисточки, кисточки, потом выкрашенная красной краской деревянная рукоять. Я протянул руку.

– Осторожно, ххоссподи! Не подсохло! Когда представление? В полвосьмого вроде?

– Что же мне делать? У тебя будет открыто, нет?

– Только для заправки. Мы ее где-нибудь оставим, а вы потом заберете. Несите ту чурку, а эту – я.

С величайшими предосторожностями мы вытащили алебарду на волю и проследовали с нею к открытому гаражу, не содержавшему ничего, кроме малолитражки мисс Долиш. И пристроили ее на бетоне у стенки.

– Вот, – сказал Генри. – До последней минуты ее оставляйте, мастер Оливер.

– Она мне раньше десяти и не понадобится. Ну, до полдесятого. Это для последней сцены, понимаешь?

– Подсохнет. Обещать, конечно, ничего не обещаю. Но так думаю – подсохнет. Брюки у вас не в краске?

– Нет. По-моему, нет.

– Ххоссподи. Эти, что ли, оксфордские брюки называются?

– Модные.

– Ботинки зато чистить не надо. Экономия труда, как-никак. Ладно, мастер Оливер. Значит, попозже-попозже ее заберете.

– Спасибо.

Я побежал домой и застал маму за созданием моей шляпы. Она все еще пребывала в состоянии сдерживаемого восторга. Скандал с мистером Клеймором его только, как ни странно, усугубил.

– Поди-ка сюда, детка. Примерь. Шляпа блином сидела у меня на макушке.

– Отцовская голова, – сказала счастливая мама. – Ленту вынуть придется.

– Где я переоденусь, мама?

– Здесь, конечно! Где же еще?

– Я думал...

– Скажи спасибо, что мы совсем рядом живем. Младшему Смиту приходилось, бедняжке, тащиться из такой дали! И в совершенно мокром костюме! Уэртуисли отдали дамам свою приемную. Конечно, до прошлой недели они могли рассчитывать на приемную мэра. Только бы снова дождь не полил! Какая жалость, что у нас нет

настоящего театра!

– И по-твоему, я в этом виде выйду на у-улицу!

– Прекрати, Оливер!

– Цыганом? Бифитером?

– Примерь-ка еще. Не напяливай так, я же ленту вынула, оцарапаешься. Господи, нет! Придется сзади разрезать. Ты успеешь постричься?

– Нет!

– Ты не очень-то идешь навстречу, детка. Да, кстати, я принесла тебе из мясной изумительное жабо. Мистер Дэнфорд такая прелесть.

– На у-улицу!!

– Не понимаю, почему вы оба так не хотите пойти навстречу. Твой отец, например... ну да ладно... Подумай, как мистер Харви, например, проделывает весь этот путь от Бамстедской церкви на своей крошечной машинке, со своим контрабасом сзади и своей, между прочим, завтрашней проповедью впереди! Стыдись, Оливер! Тебе должно быть стыдно, ведь когда мистер Харви был еще молодым человеком, он волок свой контрабас за велосипедом! У меня дух, бывало, перехватывало, когда он катил с горы из лесу и то и дело чуть не попадал под свой контрабас. И когда он влетал на Старый мост – о, это, я тебе скажу, было такое облегчение! Ка-аждый раз, когда в Стилборне исполнялась музыка, он крутил педали через весь лес – хотя на годик-другой ему, конечно, пришлось прерваться, когда на него свалился этот воз сена. Старик Воробей был пьян, и я все думаю, какое счастье, что его сын сразу стал перекидывать этот воз вилами и, обнаружив контрабас, моментально, конечно, понял, кто там лежит.

– Послушай, мама...

– К сожалению, нам, наверно, придется еще чуть-чуть разрезать. Ах, детка, надеюсь, там столько мозгов! Нет. Есть люди, с которыми просто что-то вечно случается. Ты, например. Помнишь, детка, как ты упал в пианино? Конечно, теперь-то он постарел и, между нами, стал глуховат. Такая жалость. В четверг спутал номера на пюпитре и сыграл не тот. Хорошо еще, оба были на три четверти...

– Они все на три четверти. Всегда.

– ... так что все сошло, потому что одно ум-па-па не слишком отличается от другого ум-па-па, правда? Только он, к сожалению, продолжал свои ум-па-па, когда все остальные уже кончили, – и довольно долго. В результате, как ты мо-ожешь себе представить, детка, зал решил, что так надо, и не стал хлопать. Мистер Клеймор просто позеленел от злости.

– Да. Могу себе представить.

– А ты не обращай внимания на мистера Клеймора, Оливер! Наш режиссер мистер де Трейси. Делай все, как он тебе скажет.

– А кого он играет?

– Никого он не играет!

– Почему же он тогда так одет?

– Он профессионал. Из Лондона. И чему только вас учат в Оксфорде?

– Кончила?

– Имей терпение, детка.

– На-до-е-ло!

– И не уподобляйся мистеру Клеймору, детка. Ты слышал, что он сказал в заключение? – И мама, сверкнув очками, задрала нос и состроила мину Клеймора. – «Ивлин, старина, я до самого вечера буду лежать как труп!» Но, – и она сверкнула очками на меня поверх шляпы, – мистера де Трейси на мякине не проведешь, о, не сомневайся! Он этого человека раскусил! Он понял, что единственный верный подход к этому человеку – да и ко всей этой братии – лесть. Ты заметил, как он ее подпускает?

– Да, заметил.

– Конечно, мы все для него жалкие любители. Но он всегда любезен и мил и, главное, понимает в музыке. При мне говорил репортеру, что оркестр, по его мнению, заслуживает особого упоминания. Ничего подобного, сказал, никогда не слышал. Только когда распоряжается этот Клеймор, дождешься от них чего-то, кроме дежурного «Оркестр честно внес свою скромную лепту под управлением...» Надеюсь, хоть фамилию нашу в виде исключения не переврут!

– По-моему, готово, да?

– Придется тут сзади вставить резиночку, а то слишком распахивается разрез. Ты же не хочешь, чтоб с тебя шляпа свалилась, детка! Между нами говоря, я твердо решила, что мистеру Клеймору больше не к чему будет придраться. Пусть ссорится сколько ему угодно, я буду как скала! Для всякой ссоры, в конце концов, нужны двое. Вдобавок хочется, чтоб у мистера де Трейси осталось о нас хорошее впечатление.

– У него коленки смешные, да?

– Коленки? О! Поняла, что ты хочешь сказать! Когда я была девочкой, мы называли это «кавалерийские колени». Ты, конечно, был еще маленький, когда лорд Кромер открывал институт. Ты, конечно, не помнишь. Интересно, был мистер де Трейси когда-нибудь в кавалерии?

– Маловероятно, по-моему.

– Почему, я уверена, он дивно бы выглядел!

Мама весело вскочила, сама примерила мою шляпу, потом передала ее мне.

– Сзади что-то не очень, мама. Как-то съезжает.

– Господи. Может быть, ты ее будешь придерживать? Одной рукой?

– Я же должен отдавать честь этой дерь...

– Оливер!

– ... ревянной жуткой алебардой!

– Я шнуручек пришью. Будет под подбородком держаться, как у тебя, помнишь, была матросская шапочка. Ты

был в ней такое очарование! На ленте «Британский лев». Мы тогда отдыхали две недели в Уэймуте, и ты подошел к каким-то матросам и говоришь: «А я тоже моряк!»

– Господи.

– Поставь чайник, ладно, детка? У нас будет нечто вроде раннего ужина. А если ты придешь после спектакля голодный, ты сможешь что-нибудь перехватить. Там, конечно, будет потом кофе с пирожными, но кто же их ест? Все всегда сли-ишком возбуждены. Хорошо, детка! А сейчас лучше поупражняйся на скрипке.

– Зачем это?

– Ты хочешь дать мистеру Клеймору повод придраться?

– Ну ладно, ладно.

– И вынь этот пенс!

– Да мистер Клеймор...

– Я не про спектакль, глупыш, – сказала мама и опять расхохоталась. – Я про сейчас. И не надо было оставлять его в скрипке, Оливер. Это для нее вредно.

– Я и не оставлял.

– Положи его в футляр!

– Он у меня будет в кармане.

– Если у тебя будет карман! То есть в твоём костюме цыгана, я имею в виду.

– Лучше я сбегаю в гараж, на алебарду взгляну.

– Только недолго, да?

Я вернулся к своей алебарде, нагнулся, пощупал. Она была еще липкая, и я не стал ее трогать. Генри – на то он и Генри – был еще в офисе. Но когда я к нему обратился, он ничего мне не смог посоветовать. Это меня слегка удивило, я привык считать, что Генри может все.

Я медленно побрел домой, и там мама заварила мне чай и довела до совершенства шляпу. Папа был тут же и скучно пережевывал пирог с мясом. Мама не проглотила ни кусочка, все время разговаривала и будто порхала над землей.

Я остро ощущал нашу с папой кровную связь.

– Пап, ну как? Работа идет?

Папа повернул голову и задумчиво на меня посмотрел. Потом отвернулся и продолжал есть.

– Ответил бы мальчику, папочка!

– Бах, – сказал папа. – Гендель. Тонкий помол – вот это я люблю!

– Кое-что в «Червонном короле» очень мелодично, – сказала мама. – Ты сам говорил!

Папа посмотрел на нее затравленным взглядом.

– Да. Говорил. Когда слышал его в первый раз.

Мама заведовала моим переоблачением в костюм цыгана и руководила гримировкой. Особенно разили наповал усы. И потом папа с мамой пошли занимать свои места в оркестре. Улицы возле ратуши являли странное зрелище. Дамы в неохватных и непостижимых кринолинах, стражи в шлемах и перьях, двое-трое пейзаж, перепорхнув с одной стороны Площади на другую, юркали под навес на лестницу перед ратушей. Я приободрился, решив, что в таком обществе спокойно останусь неопознанным, и, сжимая свой футляр, пустился через Площадь. Но, дойдя до ступеней, убедился, что они так забиты шлемами и кринолинами, что мне не успеть вовремя пробиться. Я решил попытать счастья у главного входа, потому что едва ли туда уже подоспела какая-то публика. Прокрался через рынок, вынырнул на Главной улице и – сердце мое бухнуло прямо в пряжки на туфлях, а оттуда подпрыгнуло к горлу.

У главного входа ратуши стояла очередь. В абстракции я понимал, что люди придут на спектакль. Но вот они были передо мной – живые, из плоти и крови. Я всех их знал в лицо и, призвав на помощь все свое самообладание и осмотрительность, мог с ними разминуться на улице, не покраснев как рак и не растянувшись плашмя. Обычно я надеялся и порой убеждался, что я, на худой конец, незаметен, а в лучшем случае и невидим. И вот не метафизически, а с беспощадностью факта мне открылось, что сейчас придется себя подавать этим реальным, выстроившимся хвостом людям; оскорблять их слух беспомощностью своих двойных флажолетов. У меня даже руки затряслись от этого кошмара, и я отпрянул под укрытие ратуши, под временную сень ее колонн. Очередь молча втекала в двери. Вдруг тромбон старшины О'Донована грянул над моей головой. Увертюра, поехали. Я кинулся к лестнице, но там все еще было битком, и меня ужалила новая забота. Я не видел, куда бы приткнуться футляр. Я побежал домой, подумал, как спокойно и мило в нашей гостиной, и бросил его там. Кинулся обратно, со смычком в одной руке и скрипкой в другой, услышал, что увертюра кончилась, и стал продираться вверх по лестнице. Она была забита нервным, свирепым народом, не имевшим ни малейшего снисхождения ни ко мне, ни к моему инструменту. Я протиснулся до первой площадки, был вынесен людским прибоем на вторую и брошен к самой сцене. Тут я сообразил, что забыл свой пенс, и попытался снова протиснуться вниз. Это повело к ряду страстных обвинений, произносимых таким шипящим шепотом, что я не расслышал ни одного. Я мог бы, конечно, грубой силой проложить себе путь, но отчасти его заграждали сравнительно нежные девы, и я вдобавок нес скрипку. Я взял себя в руки и призвал на помощь свой ум. Когда гримированное лицо кидалось на меня и шипело, я говорил ему, что мне нужен пенс. Не найдется ли у вас пенса? Но у всей толпы, по-видимому, не было ни единого пенса, а иные были настолько бездушны, что смеялись надо мной. Потом у меня отстали усы, и я был так стиснут, что не мог водворить их на место. Последняя моя надежда – на полную неузнаваемость – рухнула. Я сдался, я покорился судьбе и стоял за рисованным задником в ожидании знака мистера Клеймора. Меня беззвучно и страшно давили уже не актеры на лестнице, а незримая публика в зале. Я начал дрожать, руки примерзли к скрипке. Все указания вылетели из головы.

– Мне уже кажется, что это место са-амое очарова-ательное на всем белом свете!

Великолепным размашистым шагом я ступил за рисованный задник и очутился на слепящей сцене.

Я стоял, щурясь от блеска, примерзнув к скрипке, и вот раздался первый одинокий хлопок, второй – и хлынули теплым потоком аплодисменты. В них слышалась ласка. Ясно было, что меня узнали, признали аптекарского сынка; ясно было, что да, я парень что надо. Я вдруг понял, что все мои шапочные знакомцы одобряли мое поведение, во всяком случае извиняли его. От страха, даже ужаса меня непоследовательно кинуло сразу к самонадеянности. Прямой, музыкант до кончиков ногтей, скрипач не только с дипломом, но еще и смычком владеющий, я взял свой первый аккорд. Пальцы были жаркими, нежными, рука со смычком – вольной, гибкой. Меня не мучили никакие сомнения, я играл так же громко, как пела миссис Андерхилл. Я кончил – я заранее знал, как точны, как ликующе тонки будут три моих последних эффектных двойных флажолета, – и каскадом обрушились аплодисменты. Самоуверенность и самообладание не покинули меня. Я пригляделся к свету и

видел маму за пианино, она кивала, смеялась, аплодировала. С великолепным хладнокровием я поклонился. И когда выпрямился, кошель с деньгами, просвистев мимо моего лица, шмякнулся о циклораму. Пятясь со сцены, я снова кланялся. В зале топали.

– Бис! Бис!

Скромность мне подсказала, что, пожалуй, довольно. В конце концов, это была сцена мистера Клеймора, и я не хотел ему ее омрачать. Пот застыл у меня на лбу, и, вжимаясь в лестничную давящую, я нежно, учтиво улыбался всем и каждому с высоты своего нового роста. Времени у меня было полно, в сущности, целый вечер оставался до перевоплощения в бифитера, и я предвидел, что это, конечно, будет некоторый спад. Зато – как легко. Не играть на скрипке, вообще – ничего. Только оживлять сцену. Я спустился вниз, и вечер обдал меня внезапной свежестью. Я стоял, наслаждаясь простотою действительности и воспоминаниями о своем триумфе.

В нескольких метрах от меня опирался о колонну мистер де Трейси. На лице его была та же нежная улыбка.

– Поспешаем прочь, мальчуган?

– Мне переодеться надо. Значит, вас не было за сценой, сэр?

– Я понял, что, стоя здесь, можно полней сосредоточиться на музыке. Были у вас какие-нибудь затруднения?

– Вообще-то я эти деньги не успел поймать. И усы отстали.

Мистер де Трейси улыбнулся и сверху овеял меня сладостью.

– Прелестно! Прелестно!

Он пошарил в полах плаща, вынул бутылку, осмотрел на свет, убедился, что она пуста, и сунул обратно.

– Не пойти ли нам тихохонько вместе выпить, Оливер?

– Я же в костюме!

– Я тоже. Можно мне отбросить притворное и глупое «мальчуган»?

– Вы слышали, как я играл?

– О да. И что-то мне подсказало, что вашего пенса не было с вами.

– Ради Бога, простите!

Мистер де Трейси подрожал коленками.

– Едва ли вы угодили своему ненавистному сопернику.

– Моему?

– Нашему великолепному герою-любовнику.

Я переглотнул и поднял на него глаза. В ответ он улыбнулся, обдав меня призрачным веяньем джина.

– Но как?

– Мужественные ноги чуть-чуть носками внутрь. Взгляд... щенячьей преданности. Прелесть, прелесть!

– Но я не...

– Я соблюду ваш секрет.

– Она не...

Он обвил мое плечо своей длинной рукой. Странная приятность, ощущение защиты.

– Она ничего не знает, да? По-моему, пора исцелиться.

– Пока я жив...

Он потрепал меня по плечу.

– Шоковая терапия.

– Да нет же, я ничего. Честно.

– Десять гиней – и билет туда-обратно третьим классом. Кажется, грех жаловаться. А жалуешься, и еще как! И до того хочется удрать, что под конец почти все эти десять гиней... Тем не менее. Пошли в мавзолей.

– Где это?

Я увидел, что он смотрит на «Корону», и разразился пылкими протестами:

– Ой! Мне, во-первых, переодеться надо! Ведь я, как-никак, тут живу!

– Единственное утешение, какое я могу предложить вам в столь горестной участи, Оливер, – хороший стаканчик джина. У вас еще уйма времени до того, как вы будете оживлять сцену для мистера Клеймора.

– Я думал, вы его Норманом зовете.

Мистер де Трейси кротко кивнул.

– Да-да, в самом деле?

– Но разве вам не надо сидеть за сценой, сэр?

– А я и сижу. – Он сверху дохнул на меня. – Ты же знаешь, что я там сижу, правда, Оливер? Ты будешь моим свидетелем, правда?

Я радостно рассмеялся.

– Уж будьте уверены!?

– И называй меня Ивлин.

– Как Норман?

– Нет, не как Норман, дитя мое. Как мои друзья.

– Ага!

У самой «Короны» он легонько меня отстранил и постоял, глядя на ратушу, несколько набок склонив голову.

– Судя по совершеннейшему отсутствию звука, поет мистер Клеймор.

Я хихикал, я его обожал.

– Да! Да! Господи!

– Я с ними работал, видишь ли, – за мои грехи! – так что я все про них знаю. Особенно про нее.

– Почему это?

– Бернارد Шоу называет такое «Женщина во мне самом». Во мне много женского, Оливер. Так что уж я-то знаю.

– Она красивая.

Мистер де Трейси улыбался. И каждое его слово было как осиный укус.

– Она – пустая, бесчувственная, суетная женщина. У нее недурное личико и хватает ума вечно улыбаться. Да что там! Ты в сто раз... Никогда не открывай ей своей телячьей любви. Это только потешит ее суетность. И как спесивы оба! Нет, тут не то что десяти гиней, тут тысячи...

Я открыл рот, но не находил слов. Мистер де Трейси отпустил мое плечо, с живостью распрямился.

– Ну вот. Мы у цели.

Ввинтился во вращающуюся дверь, оглядел пер вый зал.

– Если ты принесешь мне то кресло, Оливер, и сядешь вот сюда, мы очень уютно разместимся между камином – и пальмой.

И пошел во второй зал. Менять этот незыблемый интерьер было отважное предприятие. Однако, чувствуя, что все теперь вдруг изменилось, я радостно приволок кресло. Мистер де Трейси принес два бокала с прозрачной жидкостью.

– Превосходно исполнено. Твоя бы мама, и та... Нет. Это низко с моей стороны. Прости меня, Оливер, но, видишь ли, я, – пошарил глазами, будто рассчитывал прочесть где-то в воздухе нужное слово, – я... истерзан. – Протянул мне бокал и сложился в кресле. – И даже нельзя ведь сказать, что во имя искусства. Все во имя десяти гиней, и ты – первое, буквально первое человеческое существо, которое я встречаю в связи с этими возмутительными упражнениями в буколических глупостях. Н-да. За исключением, разумеется, твоей достойнейшей мамы.

– Она вас без конца превозносит.

– Вот как? Весьма польщен. Ну а твой отец?

– Он вообще мало разговаривает.

– Это ведь тот обширный господин в сером, который играет на скрипке с каким-то тлеющим жаром?

– Верно.

– Он пользуется методом Станиславского. Я никогда не видел, чтоб так явственно выказывалось яростное презрение. Ни единого слова. Взгляд устремлен в ноты. Каждая нота на месте. Тлеет, тлеет, тлеет. О Боже – зачем?

– Так маме хочется.

Я хлебнул из бокала и задохнулся.

– Пей медленнее, Оливер. Ты почувствуешь такое освобождение! Господи. Уж я-то попил на своем веку.

– Освобождение? От чего?

– Вообще. От чего хочется удрать. Освободиться.

Я помолчал, прикидывая тесные пределы собственного существования. И вдруг меня прорвало, хлынуло горлом:

– Верно. Точно. Все – зло! Ложь! Все. Нет ни правды, ни совести. Боже! Не может ведь жизнь... ну, где-то глянешь на небо, и... а для Стилборна же это – крыша! крыша! Как... И как надо прятать тело, о чем-то не говорить, о чем-то даже не заикаться, с кем-то не кланяться... и эта штука, которую они выдают за музыку, – все ложь! Неужели они не видят? Ложь, ложь! Похабщина какая-то.

– Весьма прославленная. Огромные сборы.

Я сделал быстрый глоток.

– Знаете, Ивлин? Когда я был маленький, я думал, что дело во мне, и, конечно, так оно и было отчасти...

– Прелестно! Прелестно!

– Все так запутано. А знаете? Всего несколько месяцев назад я... брал девушку, там, на горе. Можно сказать, публично. А почему бы и нет? Почему? Кто в этом... этом... кто делал что-то более... более...

– Вас кто-нибудь видел, Оливер?

– Мой отец.

Коленки мистера де Трейси раз-другой распахнулись, сомкнулись.

– Знаете, Ивлин. Как в химии. Можно видеть в ней – то, можно – это.

– Что «как в химии»?

– Ну. Жизнь.

– Жизнь – чудовищный фарс, Оливер, с неумелым режиссером. Эта девушка. Она была хорошенькая?

– Очень даже.

Мистер де Трейси смотрел на меня над краем бокала, улыбался нежно при полной неподвижности меченых бильярдных шаров, и тощее вытянутое лицо слегка лоснилось.

– Завидую.

– Да вы бы на нее и не посмотрели. Ивлин, там у вас такие актрисы, а она – ну, деревенская девушка из Бакалейного тупика. Но как подумаю – зачем мы... зачем...

Я осекся, припоминая, что я еще хотел сказать – про Эви, про Стилборн, про папин бинокль и про небо, – что-то, что легко было сказать Ивлину, потому что ему все легко было сказать. Я глядел на него и преданно улыбался. Вокруг него всклубился легкий туман, а сам он, четкий и милый, оставался в середине. Наконец-то я понял, почему у него такие точечные зрачки. Желтизна глазных яблок хлопьями и кристалликами выпала на радужке, и стало трудно их во всем этом различить.

– Ивлин. Я хочу правды. И нигде ее нет.

Мистер де Трейси испустил долгий, прерывистый вздох, и еще шире стала его улыбка.'

– Правды, Оливер? Ну...

– Жизнь должна быть...

– Проникновенной.

Он сунул руку в нагрудный карман, вынул небольшой кожаный бумажник. Не отрывая от меня глаз, вытащил пачку фотографий и верхнюю протянул мне. Туман сомкнулся, я уже видел только ее. Или я так сосредоточился, хмурясь над фотографией, что прочее все застлало туманом. Мистер де Трейси совал мне в другую руку остальные, но я уже приковался к этой. На фотографии, бесспорно, был мистер де Трейси. Помоложе. Но длинный нос и подбородок в профиль не оставляли сомнений. Как и тощая фигура. Распущенные темные волосы парика не доставали до плеч, открывая взору часть жилистой шеи. Правая голая рука лебедино выгибалась вперед и вверх, левая – назад и вниз, и вместе они составляли диагональ. Балетный костюм туго его обтягивал, а из-под белой пены кружев струились, смыкаясь, тощие ноги и завершались неимоверного размера балетными тапочками. Женский маскарад только еще подчеркивал его маскулинистость.

– Господи, что это?

– Просто к вопросу, Оливер. О проникновенности. Отдай, пожалуйста.

Но я перелистал всю пачку. Везде тот же костюм, тот же мистер де Трейси. На некоторых его поддерживал пухлый молодой человек. И они неизменно глубоко заглядывали друг другу в глаза. Я так хохотал, что мне стало больно.

– Ну отдай же, Оливер.

– Да что это?

– Фарс, только и всего. Отдай, пожалуйста.

– Я, по-моему, в жизни не видел...

– Оливер. Отдай. И беги.

– Давайте еще по одной...

– Не забудь, тебе выходить бифитером.

– А ну его!

– Тем не менее.

Я поднял глаза на мистера Трейса и удивился, как он отодвинулся далеко-далеко, оставаясь на том же месте.

– По-моему...

– Мы не станем ведь огорчать твою маму.

И тут я вспомнил.

– Да! Вы же что-то хотели мне сказать!

– Не припоминаю.

– Насчет правды. И честности, кажется.

– Решительно не помню.

– Я вам рассказывал – про этот город и вообще.

– По-моему, тебе пора переодеваться.

– Разве?

– Ну – беги.

– А, вспомнил! – Я снова рассмеялся от этой мысли. – Вы же хотели меня исцелить!

Лицо мистера де Трейси всплыло в фокус.

– В самом деле, Оливер. Прощальный дар. Ну так вот. После того как ты отдашь честь и уйдешь со сцены, послушай Великий Дуэт.

– Да? Ну – и?

– И все. Просто послушай.

– Ладно. А потом прибегу рассказать...

– Меня не будет.

– А, так вы за сценой будете?

– Я – удеру.

Вдруг он придвинулся совсем близко, поднял руку и указательным пальцем постучал по часам. Я увидел время и в ужасе метнулся прочь. Нацепил костюм бифитера, пустился через Площадь к гаражу. Алебарда была совсем сухая, только безумно тяжелая. Я взвалил ее на плечо и сунулся черным ходом, но в таком положении она в дверь не пролезала. Я взял ее на изготовку и так двинулся вверх. Но на лестнице выстроились артисты, и через несколько секунд то, что замышлялось как выход на сцену, превратилось в рукопашную гримированных

борцов, осыпавших бранью меня и красную рукоять моего оружия. Мелькали полуголые груди, карминные губы, яркие платья и ноги, ноги. Я, однако, оставался верен своей алебарде, движимый жаждой скорее отделаться и бежать к Ивлину. Первую площадку я одолел, но на второй мне открылась беспощадная истина. Алебарда моя тут пройти не могла.

Спуск вообще-то занял у меня даже больше времени, чем подъем. Ибо каждый артист жался поближе к магическому квадрату, на котором разворачивался «Червонный король», и не желал ни на пядь отступать в сторону холодной ночи. Наконец я все-таки вырвался и, стоя возле ратуши, думал, что же еще теперь делать. Прислонив к колонне алебарду, я побежал в «Корону», но Ивлины там не было. Я сунул свою голову и шляпу во второй зал.

– Вы не видали мистера де Трейси, миссис Минайвер?

– Ушел он.

– Вернется?

– Жди. Задолжал мне за выпивку. Артист! Знаю я их.

– А куда он пошел?

– В кабак небось.

– Мне надо его найти!

– И зачем он тебе сдался, Оливер. Старый...

– Да это насчет представления. Там не ладится кое-что.

– А-а. Ладно, тогда загляни в «Беговую лошадь», куда конюхи ходят. Да скажи ему, пусть лучше по-хорошему деньги отдаст, которые за выпивку задолжал!

– Ладно!

– А если уедет последним автобусом, не плативши...

– Ладно!

Я бросился по Главной улице к Старому мосту. В «Беговой лошади» было почти пусто, но мистер де Трейси уютно устроился в уголке. Спина упиралась в стойку, положив на нее локоть. Когда я ворвался, он бросил на меня взгляд и стал сотрясаться от колен и выше.

– Ивлин! Что мне делать?

Поразительно, как он сохранял это бледное, неизменное, улыбающееся лицо, весь ниже пояса содрогаясь и корчась.

– Ивлин! Алебарда! При выходе с лестницы. Не пролезает!

Из сплошной тряски пролился мягкий, певучий голос:

– Он не может протащить алебарду с черного хода! Кто поверит?

– Что мне делать?

– Значит, надо зайти спереди, не так ли?

Это повело к новому пароксизму тряски. Прилизанный хохолок на самой макушке вдруг отклеился и встал, как рог.

– Меня же увидят!

Но Ивлин только знай себе трясся. Локоть соскользнул, он утвердил его вновь. Я выскочил из «Беговой лошади», зашлепал по Главной улице. Взял алебарду и пошел к главному входу. Мне удалось без особого грохота проволочить ее в дверь, через темный зал, и левой стороной я прокрался к зеленому сукну за пианино.

Осторожно, предусмотрительно я поднял край занавеса клинком и вслед ему выбросил рукоять. Сперва я встретил легкое сопротивление, унявшееся после глухого стука, и, сунув голову под занавес, толкнул вперед алебарду. Сразу за занавесом были: включенный фонарик, складной перевернутый стульчик и партитура «Червонного короля» в синеве чернильных помет. Я встал на четвереньки и пополз. С этой стороны сцены оставался очень узкий проход между стеной и циклограмой. И в конце его была запертая дверь – верней, часть запертой двери – в приемную мэра. Посмотрев туда, я сообразил, почему сопротивление, встречаемое моей алебардой, так и не прекратилось и после того первого стука снова заставило ее прыгать и плясать в моей руке. В дальнем конце темного прохода спиной к мэрской двери, вжимаясь в нее головой и плечами, лежал молодой человек и обеими руками удерживал клинок моего оружия в нескольких сантиметрах от своей груди. Когда я попытался отдернуть алебарду, он, весьма неразумно, возобновил борьбу с нею, строя мне рожи.

– Но, – пел комариный голос, – погодите, ваше королевское высочество, мы не одни!

Итак, я опоздал, и я дернул алебарду у молодого человека, и он – крайне неудачно – в тот же самый миг ее выпустил. Я радовался, что не шлепнулся навзничь на сцену, и был благодарен судьбе, что оплошно высунул клинок всего на каких-то полметра. Я повернулся, шагнул, вытянулся. Я оказался рядом с Имоджен и что-то нигде не видел мистера Клеймора. Поискав глазами, я обнаружил его прямо перед собой, только он как-то странно согнулся надвое и будто разглядывал пряжки на моих туфлях. Имоджен выбросила вперед руку, оглядела меня взглядом:

– Оставьте нас!

Я был так смущен ее гневом и напуган жестом, что с горящими ушами поспешил прочь со сцены. Даже не слышал, что творилось в зале. Стоял, прислонив за циклограмой к стене свою алебарду, и клял себя за то, что забыл отдать честь.

Началась музыка.

Сердце мое не обрывалось, как бывало, познавая одно из совершенств Имоджен. Как будто рядом стоял Ивлин. И будто все еще обнимал меня за плечо. Пот просыхал у меня на лбу. Она равнодушно вступила в ту землю, куда мне открыли доступ, в землю, где я был свой. Этот ландшафт, где музыкальные ноты, где все звуки – зримы и разноцветны, она наобум топтала тупой стопой. И дело даже не в том, что петь она не умела. Так нет же, наплевав на то, что не умеет петь, она преспокойно выставляла себя на посмеище. Она так ужасно фальшивила, что мотив, зубчатый, как горный кряж, грядой меловых холмов опадал в ее исполнении. Я слушал, а рука Ивлины все лежала неосяземо у меня на плече, и сквозь звуки Великого Дуэта – комариный писк сплетался теперь со шмелиным жужжаньем – я слышал голос:

– Пустая, бесчувственная, суетная женщина.

Эти двое, невежественные, суетные, были созданы друг для друга и больше никому на свете не нужны. Я

подсмотрел за ними в замочную скважину, мне на душу пролился мерзкий бальзам. Я их дослушал. Я освободился. И снова бросился против течения вниз по лестнице к человеку, которому я был теперь столь многим обязан. Но в «Беговой лошади» его не оказалось, как и в остальных четырех пивных по эту сторону Главной улицы. Я вернулся к ратуше, решив, что, вполне возможно, он за сценой дожидается финального занавеса.

Но я ошибся, он был на Площади. Я увидел его еще издали, он был почти прямо под фонарем. Он обеими руками держался за прутья железной ограды, повиснув на ней. Паучьи ноги были соответственно сложены, и так, словно вибрация, пульсация жизни только в них и осталась, они одни еще двигались. Лицо, профилем над оградой, не изменилось и, все такое же бледное, нежно улыбалось. Ноги пытались сами собой сделать несколько шажков, потом, как бы спохватившись, что кого-то оставили сзади, возвращались восвояси.

Я нагляделся на этот специфический феномен в Оксфорде и сразу понял, в чем дело. Выходить на поклоны он, по-видимому, не мог. Оставалось одно.

– Пойдемте, Ивлин!

Он меня не узнал, он меня не увидел. Я обхватил его за плечи и поднял. Вся энергия сосредоточилась у него в кистях, и мне пришлось их отдирать от ограды. Почти волоком я потащил его по Главной улице. Барчестерский автобус, последний, дожидался пустым.

Мы не очень понравились кондуктору в наших костюмах.

– Кабы не вытошнило его.

– Не вытошнит, – сказал я и рассмеялся. – Не из таковских мистер де Трейси, правда, Ивлин?

Ивлин не ответил. Я внес его в автобус, он теперь меня слушался и был как перышко. Нежно, бережно я усадил его на длинное сиденье прямо за дверью.

– Ну вот!

Как будто он держался на воде или, скажем, всю свою жизнь только так и укладывался, Ивлин легко и готовно подложил обе ладони под правую щеку, подтянул к подбородку колени и одновременно повалился на девяносто градусов вправо. Так он и лежал, свернувшись калачиком, и лицо, улыбка, меченые шары не изменились ничуть, будто смотреть на мир под таким углом – самое натуральное дело. Но тут мотор, взревев, бросил в дрожь тело мистера де Трейси, будто он на прощанье по-своему отдал должное забавному ракурсу Стилборна.

Кондуктор засомневался.

– Ой, не знаю я...

– Да все обойдется. Пока он до Барчестера доедет...

И только когда звякнул звоночек, меня вдруг стукнуло, что я ведь взял с потолка, что ему надо в Барчестер, никто мне такого не говорил.

Я побежал за автобусом, я кричал:

– Ивлин! Эй! Вы едете в Барчестер!...

Но автобус уходил от меня, качался по Старому мосту, тяжело взбирался к лесу. Я повернул, прикидывая, не забежать ли домой, взять деньги для миссис Минайвер. Но, увидев, что в «Беговой лошади» гасят свет, я решил,

что миссис Минайвер придется обойтись до завтра. А если сумма окажется для меня разорительной, я всегда смогу ее вернуть, когда увижусь с Ивлином или он мне напишет. И я пошел к черному ходу ратуши, но там было пусто. Я поднялся по лестнице. Сцена тоже была пуста, хотя приглушенный гул голосов тек из-за занавеса. Я прилачился к глазку и увидел, что артисты, рабочие сцены, музыканты со своими знакомыми стоят и пьют кофе. Стоят группками, между собой не общающимися. И я с облегчением понял, что еще года три по крайней мере SOS не сможет функционировать. Я отдернул занавес и пошел получать поздравления.

III

«Стилборн». Но как поражало взгляд это виданное-перевиданное имя. Раньше надтреснутые, уныло-черные буквы «Стилборн» бежали по стрелке навек накренившегося столба, иногда совсем не в ту сторону. Бузина, терновник и низкорослые клены заслоняли их, оставляя ненужную информацию подстригателям изгородей да землекопам. И столб ветшал в пустом ожидании канувших в вечность почтовых карет.

Нынешний «Стилборн» прочитывался с расстояния полумили. При автостраде, белым по сини. И вдруг меня осенило, что и Стилборн такое же место, как всякое другое. Которое может засечь на пути бог весть откуда к Барчестеру и сфотографировать спутник. Место и место. Столпившиеся у жалкой речушки дома, пункт, застигнутый автострадой, как застигает пахаря с его лошадаками вертолет. Руки сами крутили руль, и я механически скатывался к своему прошлому. Старый мост честь честью горбатился, серый и непрактичный, как и положено красоте. Никто не расширил его, не сровнял горб, меня подбросило, как на качелях, и понесло по вихляющему спуску к нашей маленькой Площади, и там я остановил машину. Я поискал у себя в душе эмоций, но не нашел. Моя решимость в жизни не возвращаться, чтобы давно умершее ненароком не разбило мне сердце, заместила прохладным любопытством. Я, конечно, был начеку и готов вовремя смыться, если ностальгия сделается непереносимо острой, но окна машины цветными открытками отпечатывали пейзаж. Я мог их листать, пролетая под защитой стали, резины, кожи, стекла.

Правда, нельзя сказать, что Главная улица уж вовсе не переменялась. Правая сторона почти от самого Старого моста до Площади была схвачена бетоном, зеркальным стеклом и хромом. Все это, разумеется, Генри. Аршинные буквы кричали: «Гараж Уильямса», «Выставочный зал Уильямса», «Сельскохозяйственный инструментарий Уильямса»; а там, в парке, жадно припавшем теперь к реке, демонстрировались эти предметы, с помощью которых Генри преобразовывал наше существование, – комбайны, тракторы, сенокосилки, столь пронзительно синие и оранжевые, что ясно было, как он процветает. Гигантские бетонные трубы лежали вдоль реки, собираясь ее сглотнуть, чтоб Генри вышел прямо на автостраду. Я проехал вперед, к бетонной площадке возле заправки. То, что Марку и Софи угодно было означать как «бензинная леди», двинулось мне навстречу. Пухлая блондинка в белом халате с «Гаражом Уильямса», вышитым над левой грудью.

– Можно видеть мистера Уильямса?

Выяснилось, что молодой мистер Уильямс в Лондоне, а старший мистер Уильямс у себя в кабинете. Я вышел из машины. И, едва ступив на этот бетон, я почувствовал себя растерянным юнцом. Я вдруг понял, что зря сюда явился. Но не успел вернуться под защиту стали и стекла, потому что услышал сзади голос:

– Мастер Оливер!

Он крепко, тепло и долго жал мою руку. Не тряс, но нежно водил ею вверх-вниз, словно мы причащались вместе печали мира. Я успел заметить, как мало изменилось его худое лицо, подсвеченное, возможно, зимним солнцем Египта или Марокко, – столь печально обрамляло оно карие глаза, вечно готовые как будто налиться слезами. Только волосы стали другие. Совершенно белые.

– Милый Генри. Время тебя не берет!

– Стараемся.

– А какими машинами торгуешь! Высший класс!

– Ну-ну, может, со мной поменяться желаете, сэр?

Но он увидел мою машину через мое плечо. И выпустил мою руку.

– Ну-ну, сэр! Извини меня!

Тут оно прорвалось, всегда призрачно отдававшееся в прихрамывании валких гласных, – почти пародийное его валлийство. Как квохчущий на склоне горы ручей.

– Да, исключительного качества вещь, сэр, извини меня!

Я стал чуть выше ростом. Впервые в жизни я почувствовал, что произвел впечатление на Генри. Сказалось то, что лежало у него на самой глубине и рождало все эти стекла, гудрон, бетон, механизмы, – тяга, не дававшая радости и покоя, ощущаемая как неизбежность, как не знающее снисхождения божество. Его отношение ко мне чуточку изменилось. Он отдавал дань успеху, не вникая в его природу. И я, окончательно овладев собой, эту дань принимал. Я ходил с ним по его владеньям, не обращая внимания на вибрацию наших социальных антенн, и только в самом конце экскурсии, в старой части здания, я замер перед чем-то смутно знакомым, еще не успев сообразить почему. Тут были: пальмы, еще какие-то растения в кадках, приглушенный свет и – вращающийся помост. На помосте, в сверкании радиатора и сиянии фар, в новых шинах на допотопных колесах, откинув верх, помещалась отставная малолитражка. И вращалась с гонором неумной вдовицы, демонстрируя мне то правый свой бок, то номер под радиатором.

Я крикнул:

– Пружинка!

– Уступила нам, как поняла, что уж сама не поедит. Мы, само собой, мелочиться не стали.

– Значит, она умерла...

– Мисс Долиш скончалась – ох, уж скоро три года будет. Лежит, где бы самой ей понравилось – где слышно орган. Добрая, милая леди!

Я слушал вполуха. И не рассматривал пристально малолитражку, только делал вид. Я пристально рассматривал самого себя. Эти чувства, эти эмоции, вдруг неуместно расцветшие среди роскоши пальм и растений в кадках...

– В южной стороне от церкви лежит, к трансепту поближе. Мы так понимаем – отдать дань уважения, почтить – это святое. Сами увидите.

– Значит, Пружинка умерла...

– Вы всегда ее обожали, ведь правда? Я же ж помню! И, ясное дело, уважите память.

Я отвернулся от малолитражки и посмотрел на Генри. Взгляд его, как всегда, был непроницаем в своей открытости. Генри был из тех, к кому не подъедешь, кого не объедешь на козе. Вдруг я почувствовал, что, как ни странно, сам заливаюсь краской, опять превращаясь в ребенка. Я ощущал его взрослую власть.

– Да-да, – бормотнул я. – Конечно.

* * *

Я направил покорные стопы прочь, по гнутой Главной улице, к Площади. Было много новой краски. Колонны ратуши отмыли и выкрасили лоснисто-белым балкон. Газон посреди Площади, между ратушей и церковью,

шумно стригли особой косилкой Генри, укрощая одну половину и тесня мятежный прямоугольник ромашки в другой. Старые цепи вокруг газона пошли на лом, столбы тоже. Исчезли и старые ограды перед каждым домом, оставя в камне пеньки. Знакомые дома, вспученные, покосившиеся, осевшие, слегка нестойкие, обернулись эдаким Челси [18], млечно-голубые, с пронзительной желтизной дверей. Не без сарказма я подумал, что Стилборн принарядили, как дряхлую даму, чтоб не стыдно показать гостям. Между домами и газоном машины стояли, сверкая капотами, в ряд, как коровы на водопое. Родительский флигель привалился к дому доктора, похожий скорее не на жилье, а на музейный экспонат, живописный и выхолощенный. Ситец, лениво заигрывавший с окном моей комнаты, знать ничего не знал обо мне. Только церковь осталась прежней в своей нерушимой серости. Кто-то играл на органе. Его звук, подмешавшись к стрекоту газонокосилки, напомнил мне, зачем я сюда пришел. Я толкнул кладбищенскую калитку и по стриженной траве побрел между серых надгробий. Я без труда обнаружил дань уважения Генри: она была из белого мрамора, фирма не пощадила затрат.

Во-первых, она впечатляла весом. В прямоугольном бордюре, среди белой мраморной крошки, под стеклянным куполом – иммортели. И все это венчал мраморный ромбоид чуть не в тонну весом. Но самое трогательное – его украшала арфа, столь натуральная, что казалось, мраморные струны вот-вот затрепещут, отзываясь органу.

Я озирался, гадая, что мне полагается делать. Знать бы принятые формулы. Может, надо помолиться? Как еще уважить память? Как отдают дань уважения стрижке дерна, мраморной стружке, гулу органа? По правде сказать, я радовался, что я жив, и немного от этого угрызался. Я раскорякой сел на другой камень, поскромней, и сосредоточенно разглядывал надпись под арфой, стараясь выудить из начертаний имени знак о том, как себя вести.

КЛАРА СЕСИЛИЯ ДОЛИШ1890-1960

Семьдесят лет. Ничего особенного. Все совершенно естественно. Я читал и читал и ничего такого не вычитывал. Я опустил глаза на мраморную крошку, тщательно осмотрел иммортели, к сожалению напоминавшие деталь свадебного торта. И, только оглядев ближний край бордюра – буквально у меня под ногами, – я оценил всю тонкость замысла Генри. Там были три слова, мелкими буквами. Он поместил их в ногах, скромно сознавая свое место, твердо понимая, где чему быть и кому что положено. Сидя на замшелом камне перед беломраморным ромбоидом, я впал в некое оцепенение. Я вспомнил. Слова были не Генри и не Пружинкины слова, хоть она любила их повторять. Слова ее отца. Я сидел на солнце, криво усмехался, рылся в памяти и его вспоминал.

* * *

Старый мистер Долиш. Чудак, каких в детстве считаешь неотъемлемой принадлежностью быта. У нас их было много таких в Стилборне. Например, одного, полоумного инвалида в коляске, я нисколько не жалел, потому что он был – предмет, как свиное корыто, как невнятный камень у входа в ратушу. Еще была старая дама, которая напяливала на себя множество юбок и громадную шляпу с вялой охапкой листвы, превращавшую ее в старенькую, сморщенную Офелию. Пружинкин отец, старый мистер Долиш, был, конечно, не такой, как они. Но тоже примечателен в своем роде. Неудавшийся музыкант, композитор, как говорили, на самом деле он держал музыкальную лавку и настраивал пианино. По какой-то линии запутанного местного родства он, кроме лавки, унаследовал еще и дом по другую сторону площади, напротив нашего флигеля. Унаследовал и немного денег, и это, в придачу к лавке, придавало ему весу. Он играл на органе в церкви, пока Пружинка не подросла и не сменила его. Но большую часть времени, оставя лавку на томную девицу, он ходил, верней, носился по улицам. Легкий, в темно-серой крылатке, с седой копной, вздымавшейся и подпрыгивающей над неистово вдохновенным лицом. Смотрел он всегда несколько снизу и вбок, как бы поглощенный столь возвышенными материями, пред которыми все смертные – прах и суeta. Он носился по улицам, и время от времени вы могли слышать, как в порыве бетховенской ярости он кричит, верней, каркает громко:

– А-а-ах!

Не исключено, что, распознав в себе совершенное отсутствие таланта, он решился, по крайней мере, явить первоклассную иллюстрацию к «Жизни Замечательных Людей» или вжиться в портрет романтического музыканта кисти Делакура. Он верил, как мне стало известно, в эмансипацию женщин, Вагнера и Стерндейла Беннета [19] и не верил в Бернарда Шоу и юного Холста [20]. Он имел состояние, а потому, как ни носился по улицам, в Стилборне прощали его, ощущая благодаря ему причастность к высокому искусству. В первый раз я его заметил, когда был еще совсем маленький и няня везла меня в креслице на колесах по Главной улице от

Старого моста к Площади. Мое внимание привлек Бедный Человек, стоявший на углу с обшарпанной коляской. В коляске помещалось кое-что поинтересней грудного младенца – гнутый зеленый рог, завершавшийся широким раструбом. Одной рукой он вертел ручку под рогом, другой протягивал шапку. Мы приблизились, и я услышал пленительнейшие звуки на свете: «Тарлям-па-пам! Па-пам!» Я громко расхохотался и потребовал, чтоб меня высвободили и пустили к плясавшим вокруг Бедного Человека детям. Это, разумеется, было немыслимо, потому что действие происходило в общественном месте и дети были оборвыши. Но я не успел еще разреветься как следует, а уж события громоздились одно на другое. Мистер Долиш летел через Площадь от церкви с тростью в руке, в белом облаке артистической гривы. Он надвигался на пляшущих, и Бедный Человек, отпрянув от няни, протянул шапку в этом новом направлении. Мистер Долиш, гракнув как разъяренный грач, обрушил трость на пластинку, и черные осколки разлетелись во все стороны. Дети орали, хохотали, хлопали, продолжали плясать. Мое креслице запнулось. И снова метнулось вперед, потому что няня спешила прочь, держась края тротуара. Я, разумеется, извертелся в своих постромках, стараясь подольше насладиться зрелищем, и за несколько оставшихся мне секунд успел уловить, как солнечную, сонную улицу оживляли: марокканец из скобяной лавки, мисс Димл из галантерейной, миссис Патрик из кондитерской, трое из матрасной, кузнец, с дымной подковой выглядывающий из своих дверей. И посреди всего этого реяла белая грива. Смолкнувший тарлям-пампам сменился грачиным граканьем и граем оборванцев.

Вы спросите, как – трехлетним – я мог знать всех этих людей, их имена и занятия. Но такова уж сетчатка детского глаза, что под воздействием любви или волнения на ней отпечатывается несмываемый снимок. Я, конечно, не знал тогда ни имен, ни откуда кто взялся. Но я несчетное количество раз видел потом их всех и сопоставлял со снимком, который лежал у меня в голове, да и теперь там лежит. Я вынимаю снимок из ящика и сортирую свои впечатления по двум стопкам – в одну идут первоначальные, невинные образы; в другую – постепенно усложняемые, проясняющие, что подкова остывала, мои собственные беленькие сапожки были из телячьей кожи, а мистер Долиш – неудачник, бешено демонстрирующий на житейских подмостках свои бесплодные амбиции и обиды.

Есть у меня и ранние «снимки» Пружинки. Я привык видеть, как по ту сторону Площади дама в странном наряде пружинистым шагом движется к церкви. Было неизбежно, что я немножко поучусь у нее музыке.

Я нарочно сказал «немножко», потому что папа был глубоко убежден, что профессия музыканта – опасная и, предавшись ей, я, пройдя через невозможный водоворот богемы, кончу тем, что буду таскать по улицам граммофон и протягивать шапку.

Я только видел Пружинку, а познакомился с нею, когда уж мне было шесть лет. Я перешел с мамой через Площадь, где Пружинка жила одна и учила одна в ста пятидесяти метрах от музыкальной лавки своего отца. Мама оделась тщательно – шляпка, перчатки, пальто с высоким воротом. Открыла нашу входную дверь, выпустила меня, открыла калитку и меня вывела. Мы прошли по булыжникам, и она нагнулась, отстегнула цепь и снова ее пристегнула, когда мы вошли на газон. Нетоптаная трава мне показалась просторной, как полночная прерия: была поздняя осень, а свет газовых фонарей вокруг Площади до ее середины не достигал. По ту сторону газона мама опять отстегнула цепь и застегнула за нами. Опять мы прошли по булыжникам, открыли железную калитку, подошли к двери, и мама нажала на сиплый звонок. В левой руке я держал маленькую скрипку в футляре с бархатным подбоем и не отрывал от нее глаз, пока отворялась дверь. Сперва я ничего не увидел, кроме Пружинкиных ног, потому что стеснялся, и немногим больше увидел, когда мы вошли в дом, потому что там было темно. Туфли у нее были самые обыкновенные, просто тяжелые, и я разглядывал их некоторое время, пока над моей головой шла взрослая болтовня. Когда мои глаза привыкли к относительной тьме прихожей, я слегка осмелел, медленно поднял взгляд и впервые увидел Пружинку вблизи. Я обследовал суровую серую юбку с подчеркнутой кожаным ремешком талией. Над ней была блузка в черно-белую полоску, с тесными обшлагами и воротом. Спереди висел темный галстук, зацепленный огромной брошкой с жутковатым полудрагоценным бурым камнем.

Посреди правой стены темно-бурой прихожей была темно-бурая дверь и возле нее темно-бурый ларь. Я сложил варежки и башлык на этот ларь, и мы втроем проследовали в темно-бурую дверь в уже совершенно лишенную бурости тьму. Я смог различить только два несоразмерных глазка смутного света: один – тускло-красным

пятном совсем внизу, другой – синей почкой высоко наверху. Лицо Пружинки приблизилось к почке, та распустилась белым калением, озарив, но не рассеяв мрак. В самом лице не было ничего белого, ничего розового, и блеклая желтизна в сочетании с высокими скулами, голыми веками и лысыми надбровными дугами делала ее скорее похожей на китаянку, чем на европейку, и мало похожей на женщину. В то время я различал мужчин и женщин только по платью, и единственно неоспоримо женским в Пружинке была юбка. Даже мышиные волосы, зачесанные назад и стянутые в пучок, не рассеивали сомнений, потому что пучок был плоский и с высоты моего роста почти не виден. Но пока я молчаливо и сосредоточенно ее разглядывал, у меня за спиной тихонько закрылась дверь. Я взглянул на мерцающий эркер и услышал, как мамины шаги удаляются по булыжникам. Когда я опять перевел глаза на Пружинку, она уже пристально занялась чем-то на подвесной полке, и я стал осматривать комнату. За шипящим газом по-прежнему прятался сумрак. Но – как мне предстояло понять с годами – даже и белый день мог только скупно сочиться сквозь пожухлую кисею. И даже не будь занавесок, и тогда бы ему не пробиться на середину комнаты. Потому что тут его стерег гигантский рояль, ощерясь на занавески свирепой клавиатурой, готовой заглотить их при случае. Зато у него была такая оснастка, какой я нигде больше не видывал, – полный набор органных педалей и соответственно широкое сиденье. На крышке чуть не до потолка громоздились мятые ноты, порванные струны, скрипка, книги, пыль, странные неопознаваемые предметы и колеблемый бюст бородатого господина, как потом оказалось Брамса. Во тьме за роялем было красное пятно камина, дымившего не хуже самой Пружинки. Пока я изучал комнату, она выбрала и набила одну из дюжины трубок. Уселась на органное сиденье и закурила. Затягивалась, дымила, пускала длинные дымные кольца в затхлость и пыль. Я опять перевел взгляд на ту полку и над полкой увидел большую коричневую фотографию дамы в пальто и шляпе и большую коричневую фотографию мужчины, мрачно озиравшего комнату поверх моей головы. Я снова посмотрел на Пружинку, потому что между затяжками она заговорила:

– Ничего... нет... прекрасней... трубки.

И, не успев это произнести, она положила трубку обратно на полку и закурила сигарету. Вынула из футляра мою скрипку и смычок и показала, каких мест я не должен касаться грязными пальцами. И стала – моргая и слезясь от дыма – усаживать меня в правильную позицию для игры на скрипке.

С музыкантами приходится обращаться жестоко, если они сами не понимают, что музыка – дело жестокое. А ничего нет более жестокого, чем позиция для игры на скрипке. Выгнутая левая рука, неподатливым локтем прижатая к телу, запястье, вывернутое так, чтоб мизинец свободно захватывал четыре струны, – только поющий голос инструмента может все это искупить. Обнаружив скрюченный таким манером скелет, вы бы, конечно, решили, что это жертва опытного дзюдоиста, загубленная его роковым броском. До всякого поющего звука моей ли, ее ли скрипки Пружинка использовала мое детское тело как манекен, резко, по-мужски толкая, дергая и подпихивая мои суставы, – как манекен, которому, поразмыслив, она вручила мой безгласный пока инструмент.

Не успели меня закрепить в позе жертвы страшного дзюдоиста (музыки, музыки), как меня уже распрямили, а моя скрипка – прелестная вещица, так сиявшая, когда мы ее покупали в Бристольском пассаже, – была уложена в гроб. Пружинка надела мужской пиджак и пронзала булавкой плоскую шляпу, пока я бился над предметами моего облачения. И сквозь все щеколды, затворы и цепи она отвела меня к родительскому флигелю. Дамы пришли к соглашению, что впредь я буду сам отважно преодолевать этот путь. Мне оставили задание на дом: ежедневное возвращение к позиции дзюдо – вывернутая левая рука, опущенный подбородок, поднятое плечо – в надежде на дальнейшее воссоединение с покуда немойм инструментом.

В пятницу, юркнув под цепи, проскакав по газону, я вернулся к темной прихожей и, как мне было велено, постучался в дверь музыкальной комнаты. Пружинка выпустила большую девочку и впустила меня. На сей раз после упражнений в дзюдо она настроила мой инструмент и велела пилить беззащитные струны. В награду она взяла свою скрипку и сыграла гамму, иногда попадая пальцами не туда, так что я не мог удержаться от смеха. Пружинка смотрела на меня сверху вниз, суровая, как ее юбка, покуда не улеглась моя веселость. И заставила меня в точности повторить все за нею.

– Снова, Оливер, снова! Неужели ты сам не слышишь! Слушать надо!

И она хватала меня за пальцы. Наконец, сбежав по щеке, на темный лак моей скрипки упала слеза.

– Что такое? Тебе нехорошо?

Дернулась прочь, остановилась от меня в двух шагах. И уронила голос до негодующего шепота:

– Может быть, тебе надо выйти?

Да, мне хотелось выйти. Но я только и мог, что молча кивнуть. Пружинка засуетилась. Быстро отложила в сторону мою скрипку. Нырнула во тьму, извлекла подсвечник, зажгла от газа свечу.

– Идем.

Я пошел за нею. Но она не стала одевать меня в пальто и башлык и не повела к входной двери. Нет, она прошла через прихожую, потом по темным, расхлябанным ступенькам, и свет свечи их пятнал грязными лужицами. Потом был длинный коридор, и по обеим сторонам двери, двери, и некоторые, распахнутые, казали голый пол и мерцающее окно. В конце коридор взбегал одной ступенькой вверх и утыкался в стеклянную дверь. Пружинка ее открывала.

– Сюда.

Отдала мне подсвечник и закрыла дверь за мною. Я со страхом шагнул и увидел коричневый фаянсовый стульчак. Сбоку была ручка, и железная труба убегала вверх-вверх, в дальнюю даль, сквозь потолок. Я слышал, как мужские башмаки Пружинки удаляются по коридору. Я прижался спиной к стене и сосредоточился изо всех сил на свече. Я уже сообразил, почему я не понял ее, а она меня. Но я не в силах был ничего поправить, оставалось только терпеть. Так я и стоял, прижавшись к стене, и холод этой тьмы, этого одиночества леденил мне спину и студил волосы. И оплывал огарок.

* * *

Наконец очень издали накатил раздраженный вопль:

– Оливер!

Я подскочил к ручке, дернул. Прошло несколько пустых секунд. Потом, высоко на крыше, щелкнуло, заурчало, обрушилось. Невидимые трубы жужжали, гремели, рокотали, вспенивались. Я кинулся к двери, споткнулся на ступеньке, бросился по коридору. Пружинка стояла в прихожей, только что впустив большого мальчика. Выхватила у меня свечу.

– На сегодня – все, Оливер. Задаю тебе эту гамму. До вторника.

И, отойдя на два шага, нагнулась ко мне, а большой мальчик бессовестно слушал:

– В следующий раз не забудь выйти перед тем, как ко мне пойдешь.

* * *

Так началась моя карьера музыканта-любителя. По вторникам и пятницам, по пятницам и вторникам. Мама ловко ввертывала мой новый статус в разговоры с немногими нашими знакомыми.

– Оливер делает такие успехи, – говорила она. – Он просто обожает мисс Долиш, правда, детка?

Я робко соглашался. Не было приличного мальчика или девочки в нашем окружении, чьи родители бы не считали, что мы обожаем Пружинку. Такая это была скала в нашей жизни, твердыня, утес. Когда я ловил себя на том, что подсчитываю: тридцать помножить на шестьдесят будет тысяча восемьсот секунд, я раскаивался в

своей испорченности. Я начинал смотреть на часы за час до урока и никогда не забывал перед отходом «выйти».

Итак, я теперь знал Пружинку и смотрел через Площадь, как она пружинит к церкви и потом пружинит обратно домой. Если она не была в церкви, каждые полчаса мальчик или девочка входили в дверь возле эркерного окна музыкальной комнаты. Да, она трудилась в поте лица, наша Пружинка. Возможно, это служило причиной странности, которую я в ней случайно открыл и заботливо потом лелеял. Вопиющие твои ляпы она с негодованием поправляла. Но если ты оставался в поразительно зыбких границах простительного греха, веки у нее опускались, поднимался подбородок, и, сидя на органном сиденье подле рояля, она крепко засыпала. Сигарета свисала из полуоткрытого рта, и она покачивалась или медленно кружила, как угомоняющийся волчок, покуда из-за потери равновесия или чудовищной ошибки своего обожающего ученика вдруг не вскидывалась, проснувшись. Это, возможно, и побуждало меня к большей точности, но – увы – не могло излечить мою растущую ненависть к бедной маленькой скрипке и скуку моих упражнений. Так шли месяцы, и я терзался, и Пружинка корила меня, сопоставляя мое привольное житье с тяжелой юностью истинного музыканта, выпавшей ей на долю. Раз она даже прогнала меня раньше времени за то, что я неверно переписал гамму.

– Мне с тобой нечего делать, – сказала она, суровая, как ее юбка, – если ты трудишься только во время урока. Между прочим, Оливер. Когда я была маленькая, папа мне велел переписывать фуги, каждый голос другими чернилами. И если я путала партии – р-раз! – он хлопал меня линейкой по пальцам.

И я ушел, и убил мои законные полчаса, болтаясь следом за фонарщиком, который с помощью длинного шеста оживлял четыре газовых фонаря по углам нашей Площади. Время шло, и промельки быта Долишей сливались в зловещую картину: р-раз! – линейкой по пальцам, бах! – нотным рулоном на органных хорах, джик! – смычком под ребра. Я живо себе представлял носящегося в крылатке мистера Долиша со скорой на расправу рукой и глазами, устремленными к абсолюту. Иногда, одолевая железные заслоны на пути от нашего дома к Пружинке, я опасался, как бы она не призвала его на помощь, если мои пороки и злодеяния, одним словом моя мерзость, окажутся ей не под силу. Слава Богу, до такого ни разу не дошло.

Первая пауза в моем ровном продвижении от урока к уроку возникла, когда я сдавал экзамен по начаткам скрипичной игры. Нам предстоял целый ряд экзаменов, потому что иначе бы никто не узнал, умеем мы играть или нет. В случае успеха нам – то есть нашим родителям – полагалось приобрести аттестат, который можно в рамке вывесить на стене или припрятать в ящик, как амуницию для грядущих жизненных битв. Но этот экзамен стал поворотным пунктом и, как я теперь погляжу, все собою затмил.

Для начала: я тогда в первый раз ездил на автомобиле. Автомобиль был огромный, чуть не с автобус. Он стоял на булыжниках за железной цепью напротив дома Пружинки, и мы, дети, обступили его. Прошла черная зима, светило солнце. Мы радостно болтали. Возле автомобиля стоял человек, и хотя тогда я увидел в нем просто незнакомого взрослого, я, снова доверясь детской сетчатке, могу вытащить и рассмотреть снимок. Он был молодой, тощий, среднего роста, с худым смуглым лицом, и глаза будто залиты глицерином. На нем был лоснящийся синий костюм, и он ознакомил меня с методом говорить лицом одно, а словами – другое. Он посмотрел на бумажку, которую держал в руке. Сказал, что номер-то верный, но он звонил-обзвонился. Ему нужна мисс Долиш, а непохоже, что кто-то из нас мисс Долиш. Лицо было очень печальное, а слова были шуткой. Он сразу имел успех. Мы-то все знали, кто такая Пружинка. И от неуместности его грусти, от нашей нашествия и пружинности Пружинки мы чуть не лопнули со смеху. Тема, однако, не получила развития, пресеченная упругим шагом Пружинки по мостовой. Молодой человек надел фуражку и отдал честь. Пружинка заняла позицию в двух шагах от него, ноги вместе, локти назад, ладони чуть вверх, и объяснила, что ее задержал священник. Молодой человек открыл дверцу, и она нам велела влезать. Все уселись, она взгромоздилась на сиденье рядом с водителем, и мы поехали. Сзади не раздавалось ни звука, и молчали впереди оба взрослых. Но километрах в полутора от Стилборна одну девочку затошнило, и совместное участие в ее беде растопило лед. Пролетая между Дикой Морковью и Собачьим Шиповником, мы слушали увлекательнейший разговор впереди. У молодого человека был певучий, текучий голос, каких мы не слыхали в Стилборне, голос под стать его переливчатой мимике. То и дело меняясь в регистре, он был мягок и нежен, как скрипка. Да, он из Уэльса, из Кардиффа, да, мисс, он немножко поет, тенором, значит, они с ребятами вечно, бывало, пели, как сойдутся. Сейчас я диву даюсь, как мы про него все сразу узнали – что он беден, много работает, хочет в жизни чего-то

добиться, любитель музыки и первоклассный механик. От неожиданно говорливой Пружинки мы узнали то, о чем давно знали, но не задумывались: что в Стилборне нет гаража, только велосипедная лавка и кузница, что приходится нанимать автомобиль, чтоб поехать в Барчестер, потому что, хоть вернуться можно на четырехчасовом автобусе, в ту сторону автобусы не ходят до двух, кроме базарных дней. Молодому человеку хотелось бы научиться читать ноты как следует, «ну вот как вы, мисс». И тогда бы он поступил в Барчестерский городской хор, который скоро исполнит «Святого Павла» [21] в соборе. После чего он пропел, истекая елеем: «Итак мы – посланники от имени Христова!» [22].

Пружинка склонила голову, глянула искоса, улыбнулась. Пошлепала одной замшевой перчаткой о другую.

– Ну, мистер...

– Генри, мисс.

– У вас же прекрасный лирический тенор!

– Спасибо, мисс, – сказал Генри. – Такой комплимент, и еще от настоящего музыканта! Так и передам в Барчестере кому следует, и придется им взять меня в хор, куда они денутся! Да уж, что наша жизнь без музыки...

– Музыка, – сказала Пружинка. – Ах...

Это «Ах» было не грачиное граканье мистера Долиша – гораздо нежней. И она прибавила так, будто мы не в автомобиле, а в церкви:

– Мой отец всегда говорит: «Рай – это музыка».

Генри убежденно тряхнул фуражкой.

– Анекдот про Дая Эванса [23] знаете, мисс? Попадает он, значит, в рай, а там хор. Сопран пятьдесят тысяч, пятьдесят тысяч контральт, пятьдесят тысяч басов, а тенор только Дай Эванс один. Вот заводят они аллилуйю, а дирижер палочкой постучал и говорит: «Минуточку, говорит, тенор все заглушает. Дай Эванс, поубавь-ка, будь настолько любезен».

Анекдот поразил Пружинку, как нас поразил тот первый вопрос Генри. Она тряслась, каркала и, подняв замшевую перчатку, хлопала себя по пучку. Но вот она затихла, и я увидел, что Генри тоже начал трястись, подавляя кашель: кх-кх-кх.

– Извиняюсь, мисс, – сказал он, наконец перестав кашлять. – Видно, это от газа последствия. А теперь послушайте, мисс, что я вам скажу. У меня сегодня короткий день. Так что вы дайте мне, во сколько бы вам встали билеты – ну там, на бензин, – а я отвезу вас с детишками обратно в Стилборн, как в Барчестере освободитесь.

Тут уж с молчанием на заднем сиденье было покончено. Мы заорали хором, чтоб она соглашалась. И она согласилась – ради нас, и смеялась, и мы по пригороду Барчестера катили к снятому в «Золотом шаре» для такого случая залу.

Этот мой первый экзамен навеки определял наши взаимоотношения с Пружинкой. Ибо, сыграв наконец свой дикий отрывок из Баха – да-диди-да, да-диди-да, – я разревелся от унижительного уродства извлекаемых мною созвучий. Потом, хлопая, я сыграл гамму, ставя пальцы на сверкающие места, чтоб удержать скрежещущие тона от разлада. Завывая, я со скучливой уверенностью определял интервалы и даже называл экзаменатору его первую ноту сразу до всякого интервала, ужасно торопясь поскорее отделаться.

– И нечего плакать, – сказал он. – И, между прочим, по-моему, у вас абсолютный слух.

Я ушел, все еще всхлипывая. Когда я иссяк, мы уже готовы были снова тронуться в путь.

На сей раз Генри говорил об автомобилях.

– Вам бы маленькое авто заиметь, мисс. Сейчас леди многие сами на авто разъезжают.

Нас отвлекали дорожные впечатления – а меня вдобавок скромная гордость, что единственный из экзаменуемых я вызвал переполох, – и, только проскочив Старый мост и покотив по Главной улице к Площади, я наконец услышал, что говорит молодой человек:

– Какое тут беспокойство, мисс. Я, значит, погляжу, что да как, и вам в случае чего сигнализирую. А водить – это я вас в два счета выучу, мисс. Да чего там, мисс, я ж с удовольствием.

Мы остановились у цепей перед эркерным окном. Генри выскочил и, покашливая, помог выбраться Пружинке. Она нас оглядела.

– Милли. Тебе далеко идти. Зайди, выпей молока с печеньем. Мистер...

– Генри, мисс.

– Вы были так любезны. Вам не мешало бы подкрепиться чашечкой чая, прежде чем пускаться в обратный путь.

Я поспешил по газону в родительский дом, не оглядываясь, и потому не знаю, принял Генри ее приглашение или нет. Зато когда я рассказал родителям, что я единственный из всех плакал, они решили, что музыкальные экзамены не по моим тонким нервам и бог с ним совсем, с аттестатом. Я буду, решили они, заниматься музыкой для собственного удовольствия, пусть это кому-то и покажется странным. О совершенном прекращении моих музыкальных занятий не могло быть и речи. В результате наши встречи с Пружинкой отчасти лишились своей напряженности. Она не могла, разумеется, всерьез относиться к урокам, не ведущим к разумной цели. Она спала теперь чаще и дольше. Если она не спала – она говорила, иногда по десять безмузыкальных минут подряд. Почему-то я всегда ей поддакивал. Я не мог не поддакивать – просто не мог. Мое раболепное соглашательство было как смирительная рубашка.

Генри Уильямс опять объявился, когда еще было в разгаре лето. Он подкатил к эркеру в двухместной малолитражке с холщовым откидным верхом и увез с собой Пружинку. Через неделю после ряда уроков автовождения, когда я со своей скрипкой перепрыгивал через цепи на выстриженную траву и поверх розоватых крыш млечно голубел вечер, – на мостовой стояла малолитражка, а рядом покорный Генри. Мистер Долиш вылетел из парадного в облаке белых волос, рывком распахнул калитку.

– Швыряние денег на ветер!

Я стоял, прижимая к груди футляр, и смотрел. Уйдя по мостовой шагов на двадцать, мистер Долиш оглянулся и крикнул эркеру, будто тот был живой:

– Музыки твоей тебе мало?

Вышла Пружинка.

– Заходи, Оливер, и начинай играть.

И, задыхаясь, вошла за мною. Мне бы еще гадать и гадать насчет Пружинки, и старого мистера Долиша, и Генри, если бы не бесподобная мамина проницательность. Как все женщины на нашей Площади, она была

прирожденный детектив. Они, женщины, не довольствовались ограждениями перед каждым домом и засовами на дверях. Они непроницаемо занавешивали окна. Отступя на шаг от занавесок в глубь комнаты, они посылали наружу то, что теперь я назвал бы радарными лучами. Любопытная деталь: лучи проникали сквозь занавески так, что ближние были женщине смутно видны, сама же она оставалась надежно укрыта. Мужчины располагали большей свободой при отнюдь не столь тонкой проницательности. Зато они приносили ценные сведения для опытного разведчика, окопавшегося в тайнике. И каждая трапеза превращалась в своего рода перекрестный допрос, позволявший выстроить целостную картину. Моя субтильная мама по полчаса простаивала за кисейной занавеской, гадая, что могла означать новая шляпка, встреча, движение руки, даже выражение лица.

– Идет дочка Элиотов. К мосту, конечно, идет на свидание со своим Томасом, а мать у нее, между прочим, еще в больнице.

Кроме радара, у мамы было еще одно тайное оружие. Я. Я не только дважды в неделю проникал в дом Пружинки, меня использовали и в более широкой сфере. Совершенно естественно, помогая папе, я нес то пузырек с лекарством, то коробочку пилюль в какой-нибудь дом. Я и представить себе не мог, сколь ценную информацию извлекала для себя мама по моем приходе домой. Я был как межпланетная научно-исследовательская ракета и ничуть не более, чем она, пекся о своем назначении. Помню, в те дни, когда Генри учил Пружинку водить машину, я что-то носил в соседний с ней дом – Уэртуисль, Уэртуисль, Уэртуисль, юрисконсульты, – не постигая, что означает его длинное наименование. Я вошел в прихожую, там не было ни души. И пока я раздумывал, куда сунуться, меня накрыло барственным басом:

– Войдите!

Я толкнул дверь и увидел старое венозное лицо над столом, заваленным пыльными папками.

– Ну-с? Что угодно? Вступить в брак? Составить завещание?

Я протянул коробочку.

– А-а. Это для моего сынка говенного. Нет. Я возьму. Вот.

Он порылся в кармане и выбросил на стол два пенса. Я знал, однако, что я не Бедный Мальчик. Я попятился, затряс головой и закрыл за собой дверь. Мама была довольна моим отказом от чаевых и выдала мне трехпенсовик на расходы. Ободренный, я шепнул, что мистер Уэртуисль сказал плохое слово, очень плохое. И она кивнула, будто так и знала, что он его скажет и почему.

А еще по ту сторону, где жила Пружинка, был большой дом, в котором жили две дамы, сами по себе. В них была какая-то недоступная для радара тайна. Когда обе давно уже умерли, я спросил про них маму, но она мало что могла сказать.

– Они очень странно держались. Очень, очень странно.

Я один раз ходил в этот дом. Будто подстерегала у входа, младшая дама вышагнула мне навстречу и плотно прикрыла за собой дверь.

– Скажи своей матери, Оливер, – произнесла она ледяным голосом, – что это номер семь, а не номер одиннадцать.

Чем по всем правилам, очевидно, закончился некий раунд. И с грустью я вспоминаю, как Юэны неукоснительно мне что-нибудь дарили на Рождество. Тоже вибрировали строго в такт с хрустальной пирамидой.

И нет ничего удивительного, если мама интересовалась Пружинкой. Я описал ей расхлябанные ступени, длинный коридор, пустые комнаты. И часто за столом она заводила развернутый монолог, в который папа время

от времени вставлял уклончивые замечания.

– Жить одной в таком огромном доме...

Огромный дом? Так вот как они назывались, мои неотвязные сны, – Пружинка в пустующей тьме, и нет в пустоте никого, только ощеренный рояль. Мистер Долиш жил над своей лавкой, может быть, он не любил этот дом, или звук музыкальных уроков, или просто считал, что дочери нужна независимость.

– Сдавала бы комнаты, – сказала мама. – По-моему, нехорошо женщине жить так вот одной. Да и деньги...

– Ну, будет тебе, мама, – сказал папа. – У Долиша солидные средства. Вполне солидные. С ним все в порядке.

Как-то Генри подъехал на автомобиле, когда мы сидели за столом. Мама вскочила, едва услышала рожок, глянула сквозь занавески.

– Опять урок, – сказала она. – Третий раз на этой неделе.

Папа утер седые усы и снова задумчиво склонился над супом.

– Это ей обойдется недешево.

– Глупости, – сказала мама запальчиво. – Она ему ничего не платит.

– Да ну? – сказал папа. – Что ж, очень благородно. Если бы все...

– Благородно! – крикнула мама с тем страстным презрением, которое держала в своем арсенале для людей, не снабженных радаром. – Благородно! Да! Пожалеешь червячка – не поймаетшь окунька!

Вскоре после этого я наблюдал, как машина впервые поступила в единовластное распоряжение Пружинки. Было время чая. Пружинка и Генри подъехали к дому, и он потом пешком пошел на барчестерский автобус.

Пружинка скрылась за дверью, оставив машину на мостовой. Мы стояли за занавеской. Там и сям вокруг Площади занавески подрагивали, кое-где даже съезжали чуть на сторону. Пружинка снова вышла, села в машину, произвела какие-то движенья руками, бросив машину в дрожь. Сзади всклубилось густое облако дыма, рев мотора перешел в негодующий визг. Машина дернулась метра на три вперед и намертво стала. Пружинка вылезла и вернулась в дом. А наутро Генри был тут как тут, лежал на булыжниках в лоснящемся синем костюме, и на радиаторе висела фуражка. И в следующий раз, когда я пришел на урок, я успел десять раз сосчитать до шестидесяти, прежде чем Пружинка вкатила на мостовую и пропружинила в дом, хрипя по-мужски, запыхавшаяся.

– Я за самые дюны проехала – чуть не до Легатов, сама, Оливер! Можешь себе представить? Оказывается, это так просто!

Она металась туда-сюда, воздевала руки. Восклицала, какой благородный Генри.

– Сколько же он на меня времени тратит! И знаешь, Оливер, я ведь никакими силами не могу заставить его принять деньги. Он уверяет, будто ему это ничего не стоит!

Я объяснил веско, не только из желания поддакнуть, но чтобы вдобавок вернуть фразу, которая меня восхитила, что он «не жалеет червячка, чтоб поймать окунька». Пружинка постояла – неподвижная, стихшая. Потом стала с пристрастием меня допрашивать, все напористей, и наконец ужасно рассердилась. Я не мог понять, что я такого сделал. И наконец она меня прогнала, а дома дело обстояло не лучше, потому что, когда я отчитался о нашей беседе маме, мама рассердилась еще больше Пружинки. Я так и не понял причины гнева обеих, но межпланетные сообщения всегда чреваты – увы! – непредвиденными опасностями.

Вот тогда я заметил кое-что странное в лице Пружинки, и странность эта потом все усугублялась. Анатом бы, наверное, заговорил тут о сильно развитых мышцах сфинктера вокруг рта. Когда она гневалась или что-то порицала, рот сжимался, губы сперва взбухали пучком, потом втягивались внутрь. Вокруг собирались складки и сходились к центру. Год за годом складки сфинктера углублялись, пока не стали видны постоянно, сердилась она или нет. Когда сердилась, складки делались траншеями, рот становился воронкой.

Не успела Пружинка освоить водительское искусство, как ее отец окончательно вылетел из нашего круга и был погребен на церковном погосте недалеко от калитки. Помню, вскоре после этого события пересекши Площадь, я не застал Пружинки, мне сделалось не по себе в темной прихожей, и я толкнул дверь музыкальной комнаты, навстречу теням, тяжким формам, оскалу рояля. Красно тлел камин, и я двинулся к нему, ища защиты. От щелчка в догорающих углях у меня встали дыбом волосы, и, будь в прихожей хоть какой-нибудь свет, я бы сбежал. Но я остался, где был, и вот уже различал очерки предметов. Особенно заинтересовал меня предмет на каминной полке, в котором, постепенно яснея, проступило лицо; и наконец я понял, что это Бетховен в бронзовой гриве, сжав губы, глубоко запавшими глазами сверлит хвост рояля. Явно похожий на Пружинку и на ее отца, он определенно меня порицал. Пока я над этим раздумывал, эркер ощупали автомобильные фары. Пружинка вошла в прихожую, постояла, открыла дверь музыкальной комнаты. Двинулась к газовой горелке, и я, с облегчением ринувшись ей навстречу, стукнул футляром рояля. Пружинка вскрикнула, обернулась – и глянула на меня ужасно выпученными, как-то окончательно облысевшими глазами. Прижала руку к груди, рухнула на органное сиденье.

– Никогда, никогда не смей сюда входить, пока я не позову!

Я смиренно просил прощения. Я до того натерпелся страха в темноте и одиночестве, что меня даже не очень понимал ее гнев. И потом у нас был урок. А на той же неделе Генри Уильямс переехал в Стилборн. Точно не помню, как именно это произошло, просто началась новая фаза, когда он стал жителем нашего города. Наверху горбатой Главной улицы, там, где она впадает в нашу Площадь у ратуши, располагалась кузня, маленьким проулком отрезанная от дома Пружинки. В нескольких метрах дальше по проулку калитка вела во двор за кузней. В этом дворе стояло нечто вроде хлева с голубятней. Генри, как голубь, жил на голубятне. Иногда помогал кузнецу, иногда мыл машину доктора Юэна, а то накачивал ей шины ножным насосом. Когда возле ратуши открывался базар, Генри был тут как тут, сновал между прилавков, расторопный, всегда готовый к услугам. Пружинка ставила свою машину на том дворе, верней, Генри для нее ставил, потому что Пружинка не могла развернуться в узком проулке. Генри и ухаживал за машиной, блестил, как жемчужину короны, и она вся мерцала и светилась. Я, не вникая, привык считать Генри Пружинкиной собственностью, так уж она с ним обращалась. Станет во дворе между ржавой грудой железа и зарослями крапивы и громко говорит о машине, пока он ее моет, – кричит хрипло, с расстояния двух шагов, но и ласково, весело, будто машина – живая и она ее гладит. Генри знай себе трудится и кивает, пока Пружинка, вдруг ни с того ни с сего отвернувшись, не запружинит домой.

Я не мог понять маминых жалостливых насмешек. Почему бы мисс Долиш не любить свою машину? Я бы, например, тоже любил. Но – и уж это было совершенно непостижимо – маме, кажется, не нравился Генри. Мне он, наоборот, исключительно нравился, и в конце концов я стал даже думать, что это один из моих недостатков. Он со мной разговаривал своим текучим голосом, когда я смотрел, как он моет машину, и он обращался ко мне почтительно-вежливо. Приходя в аптеку за микстурой от кашля, при виде меня неизменно адресовался ко мне: «мастер Оливер».

Когда буквально за одну неделю двор за кузней преобразился – рассервавшись инструментами, цистернами и канистрами – и я с восторгом описывал маме новый триумф Генри, она меня оборвала:

– Тьфу! Просто слушать противно!

Несмотря на смерть отца, владение машиной заметно оживило Пружинку. Она теперь дольше и слаще спала на органном сиденье, по-младенчески распустив губы, и даже изобрела шутку, которой мы наслаждались из урока

в урок. У меня был сборник упражнений такого Ктотэма. Впервые я принес зеленую папку, опоздав на урок, и с этого совпадения все и пошло.

– Кто там? А-а, наконец! – крикнула она. – Оливер с Ктотэмом! Ты теперь сам будешь Ктотэм.

И тряслась и каркала на органном сиденье. С тех пор она меня иначе не называла, и вместе мы от души хохотали. Как-то, когда у цепей перед эркерным окном на нас наткнулся священник, она пригласила его разделить нашу радость:

– Я его называю Ктотэм, потому что...

Тогда же она меня удивила, как никогда еще в жизни не удивляла. Мне было десять лет, я только поступил в местную гимназию. Я таскал теперь скрипку побольше, на которой играл так же скверно, как и на первой. Входя в парадную дверь, я слышал со двора треньканье и звяканье Генри, хоть кузнец уже закрылся до утра и отправился в «Гребешки». Я постучал в дверь музыкальной комнаты, и Пружинка, видно, меня поджидала, потому что откликнулась сразу, хоть и тихонько:

– Кто там? Ктотэм?

Я вошел и чуть не уперся носом в ее блузку. На уровне моих глаз была одна из перламутровых пуговиц, сбежавших по оторочке, по планке – или как это называлось – к поясу. Что само по себе было новостью, ибо я привык видеть здесь бурый галстук. Но это еще не все. С обеих сторон этой планки пенилось белое кружевное жабо. Руки у нее были подняты. И те же кисейные кружева торчали из-под каждого рукава. Пройдя по декорированной планке до шеи, мой взгляд обнаружил, что знакомая брошь покоится в кисейном гнезде, там, где исконно располагался галстучный узел. Я с изумлением глянул Пружинке в лицо. Оно как бы чудом размягчилось и просияло – не то что молодое лицо, но с намеком, с напоминанием о юном, о девичьем. Даже волосы были не такие суровые, скучные, стали ярче и распушились. Глаза – но очень скоро они прочли изумление в моих. Губы сжались в сборках морщин, сразу обтянулись скулы, щеки впали, и в первый и последний раз на моей памяти круглые красные пятна вспыхнули на обеих. Я смотрел, и краска разливалась по лицу Пружинки, пока вся она не потемнела от шеи до лба. Резко шагнула к роялю, чтоб я мог настроить скрипку, оставила меня с моей гаммой и – пряча лицо – буквально выскочила вон. Когда вернулась, лицо, как всегда, было желтое и в разительном несоответствии с кружевами. Она была чрезвычайно строга и ко мне придиралась. Больше я этих кружев не видел.

А вскоре потом переменилась вся наша жизнь. Я возвращался с Главной улицы, купив конфет, и, как всегда, завернул во двор кузни поглядеть, у себя ли Генри. При этом я, как всегда, волновался, потому что мама считала, что мне не следует к нему приставать. От привкуса запретного плода, как водится, мои визиты делались еще слаще. Генри, охорашивая машину, иногда болтал со мной, пока я смотрел, объяснял, например, что такое свечи зажигания и зачем на шинах узоры. Но сейчас Генри был не один. Длинная белобрысая женщина, бледная, одышливая и тупая, стояла под приставной лестницей с грудным ребенком на руках. Она препиралась с Генри.

– Ну как я полезу? Это не дело, Генри. Мне настоящую лестницу надо.

Я уносил свои конфеты под текущие увещания Генри. Блондинка и младенец оказались его абсолютно непредвиденными женой и ребенком. Я страшно завидовал им, считая необыкновенным везеньем не иметь дома и жить по-цыгански на голубятне. Что касается Пружинки, я не могу описать, в какую пропасть унижения и тоски она была брошена или бросилась.

– Бедняжка, – смеясь и жалостно покачивая головой, говорила мама. – Кто бы мог подумать, правда?

– Что подумать, мама?

Но мама только покачивала головой и смеялась. Для всех наступила веселая пора. Я разделял общее веселье, не очень понимая его источник, очевидно невольно исходя из предпосылки, что, если все вокруг развлекаются, должно быть весело и мне. Но когда возбуждение достигло высшей точки, я обнаружил, что радуюсь только я один. Дело в том, что не прошло и нескольких недель после появления Мэри Уильямс с младенцем, а уж все трое вселились в большой дом и стали там жить вместе с Пружинкой. Я был просто счастлив, я наслаждался чувством освобождения и покоя. Мне уже не снился длинный коридор, пустые комнаты, я знал, что там живет Генри. Теперь, неся пузырек с лекарством малокровной Мэри, я поворачивал не сразу направо, к музыкальной комнате, а налево, во двор за кухней с промельком заглохшего длинного сада. Там стояла на плитках коляска с вопящим Джеки и невидимая Мэри гремела тарелками. Мама, однако, не разделяла моих чувств. Почему-то она сердилась, когда говорила о Генри, и выходила из себя, говоря о Пружинке. Я затруднялся выбором собственной линии поведения. За спиной у Пружинки я подражал маме, и вот не кто-нибудь, а Генри резко меня осадил. Как-то, завезя свой велик к нему во двор, чтобы он укрепил мне руль, я завел речь о Пружинке так, как если бы он, я, мы все были по одну сторону баррикад, а она по другую, вместе с чудиками Стилборна. С перепачканного смазкой лица на меня глянули глаза, как никогда затопленные глицерином.

– Мисс Долиш, – сказал Генри, – вот уж добрая, благородная леди.

Я заткнулся, слегка покраснев.

Папа купил простейший приемничек, а потом граммофон. Я начал догадываться о том, что такое музыка, что такое исполнение. Крейслер, Падеревский, Корто, Казальс [24] – сквозь неповоротливое шипенье пластинок, сквозь вечный мучительный треск и взрывы морзянки прорывалась музыка. Но Пружинка – когда я пытался с ней поделиться своей новой радостью – с диким негодованием обрушилась на папу, обрушилась на меня.

– И зачем это понадобилось твоему отцу, Оливер? Ведь якобы он любит музыку! Я бы в жизни, в жизни не стала слушать такую дешевку, гадость, вульгарщину, такое кощунство!

Я стоял, кивал, улыбался – сконфуженно, подхалимски – и мечтал, чтоб она поскорей умолкла. В дверь музыкальной комнаты постучали. И когда она вышла, я услышал крик:

– Нельзя меня прерывать во время урока, Мэри! Очень хорошо. Разогрейте мне бифштекс с почками.

Да, действительно, мы менялись, менялись все. Пружинка становилась мужеподобней и резче, уже не так пружинила при ходьбе и понемногу тучнела. С Генри и Мэри она обращалась грубо, по-хозяйски. Иногда про них говорила: «моя семья». Генри тоже переменялся. Посолиднел. Выступал иногда уже не в лоснящейся синей сарже, а в пальто и фетровой шляпе, как прочие бизнесмены нашего города. Ну а я – я стал неискренним, скрытным, циничным. Только уж через много лет, оглядываясь назад, я понял, откуда было во мне это чувство лживости и вины. Мэри – та сделалась еще более блеклой, одышливой. И совсем уж кислой и злой. Однажды, выйдя во двор с лекарством, я застал там Пружинку и Мэри, подбоченившуюся в кухонных дверях. Обе орали, перебивая друг друга. Но вот голос Мэри, поднявшись до вопля, отчетливо донес до меня каждое слово:

– А я говорю, тетя Сис, мне нужна моя кухня!

Вдруг они увидели в дверях прихожей меня с пузырьком в руке. Все примолкли, за исключением Джеки, который выбросил из коляски погремушку, громко заметив:

– Бах! Бах!

Без единого слова я вручил пузырек и ушел.

Как-то я сидел на откидном стульчике – мы ехали в Калне играть и петь «Илию» [25], – а спереди сидели Генри с Пружинкой. Верх был опущен, и я смутно слышал, как тихие голоса бубнили, постепенно нарастая, пока Генри не взорвало:

– Да нет же, тетя Сис! Все не так, не так, не так!

Опять забубнили, опять отчетливо прорвалось:

– Сами же говорите, что у вас есть ваша музыка!

– Тс-с, сзади Ктотэм...

Покрутила шеей, крикнула:

– А ты как считаешь, Ктотэм?

– Что-что, мисс Долиш?

– Тебе не слышно, что мы говорим?

– Что вы сказали, мисс Долиш? Я не слышу! Дикий ветер...

Неискреннее дитя. Но у меня тоже была моя музыка. Звуки поддерживают, раскрепощают, это была для меня уже не теория, но реальность. И, все еще терпя скрипку, я влюбился в фортепиано и выколачивал последние силы из нашего звякающего инструмента. Я уже слышал больше музыки, чем Пружинка, и перешагнул границы ее музыкального мира. Стоит очертить эти границы. Событиями в ее жизни были нечистые и нудные исполнения «Святого Павла», «Илии», «Мессии» [26], кое-что из Станфорда [27] и «Распятие» Штайнера [28] ежегодно на Пасху. А так – Хеллер, Ктотэм, «Вольные упражнения» Маттея [29] плюс «Гимны старинные и современные» [30] по воскресеньям. Ну а я, я с трудом выносил – куда денешься? – противоречие своего подхалимского экстерьера с неартикулируемыми мыслями и невнятицей чувств, все порхающих под его прикрытием дважды в неделю по полчаса.

– Не знаю, что бы Оливер делал без мисс Долиш. Он так ее обожает...

И, прячась на следующем уроке за улыбками и кивками, внимая диатрибе, посвященной Стравинскому, которого она никогда не слышала, я смутно думал: «Значит, это называется – обожать».

Она теперь раздалась, волосы, отшпиленные от пучка, мотались под плоской шляпкой. Она обрела два золотых зуба с одной стороны и сияла ими, разражаясь угрюмым смехом при наших доверительных шуточках. Коляску Джеки заняла его сестренка.

– Пойдем, ты взглянешь на мою маленькую племянницу. Тю-тю-тю! Пусенька! Это Ктотэм, Ди. Я его называю Ктотэм, потому что...

Но был страшный случай, когда, дожидаясь урока в темной прихожей, я услышал с лестницы голос, не грубый, а проникновенный и нелепо молящий:

– Я одного хочу, чтоб я тебе была нужна, нужна!

Да, мои вянувшие скрипичные уроки все чаще и чаще срывались. Не из-за скандалов, которые вспыхивали, кажется, ежедневно, даже не из-за тщательных примирений. Они не мешали урокам, только задерживали их. Главное бедствие был шум – иногда ритмично надсадный, иногда сокрушительный, – идущий снаружи. Оттуда, где раньше был двор и соседняя кузня, теперь по дешевке обернувшаяся мастерской и гаражом Генри. Там были рекламы «Данлопа» [31] и старые шланги на беленых стенах, как осьминоги, развешанные для просушки. Были канистры, цилиндры, компрессор, верстак и какие-то таинственные инструменты, необходимые Генри для хирургического лечения машин. Все лоснилось от неизбывной маслянистой грязи.

Помнится, я демонстрировал свою спорную способность совладать со второй позицией. Пружинка сидела на органном сиденье, тупоносые туфли на органных педалях. Твидовая юбка и пиджак шершавились в газовом свете. Я играл, и вот обширная грудь качнулась, свесилась голова, закрылись глаза. Я наябывал, с чувством признательности услаждая эти закрытые глаза и сокращаемый сфинктером рот.

Вдруг грянули пушечные раскаты. Меня накрыл грохот. Пружинка очнулась, уставилась в мои ноты, будто канонада – часть партитуры.

– Это Генри, – по-дурацки крикнул я. – Генри работает допоздна!

– Я тоже работаю допоздна!

Оторвала ноги от педалей, вскочила, распахнула дверь.

– Мэри! Мэри!

Ответа не было, шум продолжался.

– Мэри! Ну как я могу слушать музыку под этот мерзкий грохот? Пусть немедленно прекратит!

Мэри что-то проблеяла в ответ, я не разобрал слов. Голос Пружинки, не раз укрощавший хор, перекрыл канонаду.

– Сейчас же идите и скажите ему! – Затем апассионата:

– Я этого не потерплю! – Краткий, рваный дуэт в прихожей окончился сдвоенным хлопаньем дверью, и Мэри, блея, бросилась домывать младенца, а Пружинка протопала на плитки двора с финальным фортиссимо: «Не потерплю!»

Я стоял, ждал, цифры росли – шестьдесят, сто двадцать, триста, – и наконец тихий вечер вернулся в Стилборн. Шестьсот секунд. Пружинка вошла запыхавшаяся, лицо лоснилось, пучок рассыпался космами. Снова началась канонада, и ей пришлось проорать объяснение:

– Машина Юэна. У него срочный вызов, а свою Генри отдал внаймы. Моя в ремонте. Ничего не поделаешь. Тебе придется уйти, Ктотэм. Я не могу преподавать при таком грохоте.

И я ушел, преследуемый пушечными раскатами.

Все чаще и чаще Генри работал допоздна. И не мог не шуметь. А почти все ученики приходили к Пружинке по вечерам и натыкались на лобовую атаку. Я брал уроки в доме, раздираемом распрями, переполненном трудовым грохотом, накаленном обидой. Я замечал, как морщины на лбу у Пружинки становились глубокими бороздами. И хриплую грубость и сон на органном сиденье оттеняла теперь отчаянная усталость. Потом ни с того ни с сего шум прекратился, и Мэри стала сахар-медович и сплошное «миленькая тетя Сис».

Причина прояснилась дома за чаем. Мама нарушила наше жвачное молчание, как всегда, в знак того, что у нее есть для нас новость.

– Вот он своего и добился.

Я поднял взгляд.

– Кто?

– Генри Уильямс. Просто топать и кричать хочется!

Папа глянул Поверх чашки.

– И чего же добился Генри Уильямс?

– Да всего, чего хотел. Берет лавку, которая ей от отца досталась, и флигель рядом и будет строить гараж!

Я прикинул в уме. Никакой канонады. В результате нерушимые тридцать на шестьдесят.

– Пружинка-то будет рада.

Мама нервно погремела чашкой.

– Сам не знаешь, что говоришь. За ее же денежки он перестраивает ее же собственность. Он ее обдерет как липку!

Папа глянул на нее сквозь толстые очки и обтер седые усы обеими руками.

– Уильямс упорно работает. Она сможет вернуть свои деньги.

Мама рассмеялась с горькой иронией, как ни странно относившейся скорее к папе.

– Не очень верится!

– Ну будет тебе, мама. Она не ребенок. Конечно, они все это оформили как полагается.

– Да ну их в Европу! – От мамы, боюсь, ускользала эвфемистическая подоплека ее заявления. – Надоело! И сам же ты знаешь, старый Уэртуисль вечно подшофе.

– Ну я не знаю, мама...

Мама окончательно рассердилась:

– Зато я знаю!

Мы оба трусливо умолкли, и он-то, возможно, знал, почему она сердится, шаркая под ее взором обратно в аптеку.

Да, теперь можно было наблюдать кое-что новенькое на полпути по Главной улице от Старого моста к Площади. Там, где жил и носился старый мистер Долиш, были теперь бетонированная площадка, гараж и ремонтная яма для осмотра машинных внутренностей. Было высокое тощее сооружение при дороге, с помощью которого Генри перекачивал бензин. Тут же я впервые увидел самое удивительное и поистине знаменательное объявление двадцатого века: «Воздух отпускается бесплатно». Повадившись накачивать шины своего велика от этого механизма, я не ухватывал тонкой экономической подоплеку. Но Генри, снисходя к моей невинности, не возражал, да и вообще, кажется, уже мог себе позволить известную широту. Облачась на работе в костюм, он заточался в своем маленьком офисе. И был тогда не Генри, а мистером Уильямсом. Вскоре после переезда он поставил на бетонированной площадке первый в нашей округе комбайн, предлагая внаймы недоверчивым фермерам. Скоро те были обращены. А сады, сбегавшие в тылу гаража к реке, залил теперь бетон.

Но когда еще свежа была на гараже краска, я получил некоторое представление о том, как отнеслась к этим преобразованиям Пружинка. Я метался по нашей крошечной лужайке, раздумывая и мечтая. Пройдя между

яблонь на огород, я уперся взглядом в угол забора. Место всегда мне казалось самым укромным. В этой укромности, подальше от людского давления, там, где на меня могли повлиять одни пауки, я рассчитывал найти выход. Кое-что уже брезжило в тумане. Я изо всех сил сосредоточился. Имена пианистов я знал лучше, чем имена футбольных звезд. В этом углу меня уже не мучило ощущение собственной наглости оттого, что я вознамерился играть на рояле серьезно, по-настоящему, как Майра Хесс [32] и Соломон [33] например. Я уже познал восторг открытия, что мои пальцы справляются с музыкой так, как я и думать не смел.

Но со следующего года предстояло зарабатывать стипендию в Оксфорд. Физика и химия – солидные, серьезные вещи. Родители намекали, что блестящее будущее мне уготовано физикой и химией. Из этого своего укромного угла я шел с колотящимся сердцем к Пружинке. Я сам завел разговор! Заговорил о карьере. В самоироническом тоне, к которому всегда прибегал, говоря с ней о чем-то для меня важном – чтоб перемахнуть на ее сторону баррикад и все обернуть шуткой, едва уловлю насмешку. Ерничая, спросил, почему бы мне не стать музыкантом, пианистом, что ли.

К моему удивлению, Пружинка не стала смеяться. Откинула голову, сделала заключительную затяжку, долго давила окуроч. Не отрывала важного взгляда от клавиш.

– Твой отец ни за что не согласится.

Разумеется. Вне укромности огорода, при дневном беспощадном свете его согласие было абсолютно необходимо.

– Ой, даже не знаю, мисс Долиш...

Она молчала.

– А что думает по этому поводу твоя мать?

Тотчас мне открылось все неприличие блудной, неоплачиваемой музыки.

– Ей-богу, мисс Долиш, я же это так, в общем, и не думаю, мисс Долиш!

Пружинка сложила руки на коленях. Когда заговорила, в голосе была странная, тусклая горечь, какой я в нем раньше не слышал.

– Нет, не делайся ты музыкантом, Ктотэм. Лучше иди в гараж, если хочешь зарабатывать деньги. Ну а я – я останусь рабою музыки до конца моих дней.

Я как ни в чем не бывало подхалимски кивал. Пружинка качнулась, заснула, легонько пожевывая губами. Потом лицо исказилось, втянулся рот, она открыла глаза.

– Этот обормот до сих пор спит в одной комнате с сестрой! Какая гадость! А ей ведь не скажешь! Ей ничего не скажешь! И чего они дождаются?

Озноб, как живой, прополз по моей коже. Я молчал, ждал, смотрел на темную фотографию молодого человека, вечно глядевшего мимо меня, переводил взгляд на темную даму в пальто и шляпе. Но вот Пружинка увидела мои ноги. Поднимала, поднимала глаза, пока не добралась до лица. Вдруг узнала меня.

– А-а, Ктотэм, старина! Чего же ты ждешь? Начинай играть!

* * *

В следующей раз неся Мэри лекарство и против всякой вероятности надеясь прошмыгнуть во двор мимо музыкальной комнаты незаметно для Пружинки, я на цыпочках одолел прихожую, открыл дверь во двор и угодил прямо в семейный ураган. Мэри, стоя против Пружинки, обороняла кухонную дверь. Генри стоял ко мне

спиной – очень широкой в пальто.

Вдруг Пружинка заорала:

– Я не желаю терпеть его в своем доме!

Генри, сохраняя спокойствие, поднял обе руки – утишая, увещевая.

– Понимаете, тетя Сис, у Мэри болит голова...

– А у меня что – голова не болит?

– Джеки мой сын, мой, я ему хозяйка! Вам-то какое дело?

– Мэри, ты так не разговаривай с тетей Сис!

– Убирайтесь все вон – слышите! Вон из моего дома!

Тут они заметили меня. Я подошел, спотыкаясь на плитках, отдал пузырек. Мэри, одной рукой поправляя рассыпавшиеся волосы, другой потянулась к лекарству.

– Спасибоочки.

Я побежал прочь, как маленький, не чуя под собою ног.

Никуда они, конечно, не убрались. Через неделю отношения Мэри с Пружинкой опять стали сахарными. Потом был еще скандал, и еще. Они все не уезжали. В путанице ли моих снов или когда спала на органном сиденье, она стонала: «О Генри, Генри, милый! Я-то, как же я-то теперь?»

Собственная моя музыкальная будущность решила сама, при моем весьма вялом сопротивлении.

Профессионалом мне, положим, не стать, но почему бы не подготовиться к экзаменам по фортепиано. Когда я наконец решил изложить эти соображенья Пружинке, она посидела немного, потом расхохоталась, просяив золотыми зубами.

– Смотри, Ктотэм, ой смотри!

– Нет, но я правда хочу, мисс Долиш.

Пружинка тряслась на органном сиденье.

– А нервы у тебя выдержат?

– Я хочу получить диплом.

– Что говорит твой отец?

– Он – за, если это не помешает моим основным занятиям.

– Начинать придется с азов. Ты бренчишь понемножку, ведь правда?

– Да, мисс Долиш.

Пружинка склонилась к роялю. Вытянула пыльные потрепанные ноты из груды, полистала, поставила на

пюпитр и начала играть. Кончив, зажгла сигарету.

– Ну вот. Теперь ты знаешь, на что идешь.

Очень хочется думать, что мою нечленораздельность она приписала восторгу. На самом деле я был изумлен. То, что она играла, было экспромтом Шопена. Я слушал его накануне в исполнении Корто.

– Уж я буду стараться.

– Придется. Существует ведь еще и теория. И проверки слуха. Мы давным-давно не проверяли твой слух, а? С тех пор, как ты был во-от такой. Отвернись-ка, Ктотэм.

Я отвернулся от рояля и разглядывал жухлую кисею занавесок. Она брала интервалы, потом все более и более сложные диссонансы. Я так и видел, куда тычется каждый толстый палец. Будто читал крупный-крупный шрифт. Она кончила, я повернулся.

И тут она сказала странную вещь:

– Твой отец должен гордиться тобой.

На это мне нечего было ответить. Вдруг ее понесло:

– Мой отец вечно волновался из-за этих проверок слуха. Как не угадаю среднюю ноту из... ну из такой вот массы – бах! линейкой по рукам!

Она не отрывала глаз от стены, я посмотрел туда же. И увидел блекло-коричневую фотографию молодого человека, который провисел все эти годы рядом с дамой в пальто и шляпе надзирателем музыкальной комнаты. Я был так ошарашен, что не слушал продолжавшую говорить Пружинку. Эти лысые веки и брови, высокие скулы! Я их узнал. Молодой человек – теперь я видел, что он не старше меня, – был старый мистер Долиш, в реянье гривы, с глазами, устремленными к абсолюту.

– ... иногда очень холодно по утрам. Но он-то все понимал. Говорил: «Продолжай упражнения, девочка, вот и согреешься». Ведь рай – это музыка, правда, Ктотэм?

– Да, мисс Долиш.

И началась для меня блаженная, восхитительная пора, и небо над Стилборном ушло в бесконечные выси. Музыка, музыка, музыка, уже не жалкая, стыдная – абсолютно легальная, то, чем, по общему мнению, мне следовало заниматься. Скандалы в старом доме были теперь досадной помехой, а не поводом проволынить урок. Я злился в прихожей, гадал, куда подевалась Пружинка и достанутся ли мне законные тридцать минут. И слышал бешеный крик со двора:

– Что же вы не уезжаете? Уезжайте!

Дикие отношения шли, спотыкаясь. Генри поддерживал какой-то баланс, понимая обеих противниц и атакуемый с обеих сторон. Пружинка вваливалась в музыкальную комнату, рукой унимая колыханье обширной груди, и мне доставался остаток урока. Конец моей музыке пришел тем не менее раньше, чем я ожидал. Я слишком ретиво, слишком подолгу терзал наше отжившее пианино. Неодобрительные замечания физика и химика, прежде столь мною довольных, насторожили родителей.

– Да, завтра тебе идти на музыку. Но у тебя и химия завтра!

– Ну, пап. Сам-то ты ведь учился на скрипке?

– Скрипка никогда не вставала между мной и Materia Medica. Оливер, ты, кажется, не хочешь учиться в Оксфорде?

– Хочу, конечно.

– Эти последние месяцы – такие важные, детка, – заклинаяще вставила мама. – Ты же знаешь, мы только хотим, как тебе лучше.

Годами вколачиваемая мысль насчет постыдности моей мечты о музыкальной карьере заставила меня прикусить язык. Будто прочитав мои мысли, папа ласково глянул на меня через стол. Если бы он хоть сердился, я бы мог за себя постоять. Но голос его звучал сочувственно, проникновенно, будто мы оба столкнулись с железной необходимостью:

– Оставь это в качестве хобби, вот как я, например. И вообще – граммофон и радио скоро многих профессиональных музыкантов пустят по миру. Господи Боже, ну как ты сам не понимаешь, Оливер? С твоими способностями ты мог бы доктором стать!

Нелегко было мне признаться Пружинке, что к диплому готовиться больше не надо. Но она почти ничего не сказала, только тряхнула головой, будто другого и не ждала. Уроки наши снова стали пустой тратой времени. Времени впустую тратилось теперь даже больше, потому что скандалы достигли критической точки. Генри мягко, но решительно ускользал из прихожей в темном двубортном костюме с двумя самописками в нагрудном кармане, оставляя за собой разбушевавшийся костер.

– И вы, получается, мне ничего не должны!

– Сколько брали, все отдали!

* * *

И все равно они не съезжали.

– Не желаю терпеть его в своем доме! Отвратительный, мерзкий мальчишка! Он же над ней издевался...

Наступил и окончился последний урок. И вот после нервного лета я наконец, счастливо замирая, складывал вещи для Оксфорда. Только уже вечером перед самым отъездом я вспомнил Пружинку, потому что большой фургон стоял на мостовой у ее ограды.

– Мама, а что с Пружинкой?

Мама брезгливо тряхнула головой.

– Они уехали.

– Кто?

– Уильямсы. Кто же еще? Папа Римский? – Мама почти шипела. – Так я и знала – уехали, как только она стала им не нужна. Сняли пока какую-то одноэтажку. Говорят, Генри Уильямс собирается строить дом. Я никогда не верила этому типу.

Я не припоминал, чтобы мама имела какие-нибудь сношения с Генри, и подивился ее категоричности. Я смотрел, как открылись двери напротив, как рабочие выносят мебель, коврики, посуду, постели. Мама стояла рядом и тоже смотрела.

– Все дешевка, подержанный хлам. Он зря не потратится.

Фургон тронулся, мама вернулась к шитью. Ученик с нотной папкой вошел в Пружинкину дверь.

– Ты бы попозже, когда она кончит уроки, пошел попрощался, – сказала мама. – Это твой долг.

– Ой нет. Ну, мама!

– Глупости, – сказала мама спокойно. – Сам знаешь, ты обожаешь ее.

Так что вечером, когда дрожь газовых фонарей вокруг Площади унялась в ядовитой яркости, я, лоснясь брильянтином и мечтая поскорей отделаться, прошел по газону к старому дому. В эркере было темно, и мне ужасно хотелось думать, что она ушла или легла, потому что приманки Оксфорда – огни, концерты, театры и люди, которые будут к моим услугам в свободное от химии время, – вытеснили все остальное. Но я оглянулся на наш флигель, увидел, как дрогнула занавеска, сдвинулась, оставила треугольничек, в котором чуялся мамин глаз. И, глубоко вздохнув, перешагнул цепи и ступил на булыжники. Открыл входную дверь. Меня уколола холодная мысль, что вот опять коридор и комнаты наверху стемнели и опустели. Даже в прихожей опять стало страшно. Несмотря на свои восемнадцать лет, я – для отступления – оставил входную дверь открытой. Газовый фонарь начертил на полу окно и вертикалью налег на дверь музыкальной комнаты. Со стесненным сердцем – и с фантомной детской скрипачкой в левой руке – я поднял правую, чтоб постучать. И опустил.

Звуки, доносившиеся из-за темной филенки, были своего рода проверкой слуха. Но что было делать грачу там, налево, на коврике перед тусклым красным глазком камина? И не мог он перемежать свое тихое граканье этой странной, задумчивой нотой, как струной под неловкими пальцами. Я окаменел, с опущенной левой рукой, приподнятой правой, и слушал, как задыханья и граканья множились, длились. Проверка слуха давала картину такую отчетливую, будто нас не разделяла филенка. Она сидела в темноте, слева, скорчившись перед тусклым огнем, под хмурым бюстом. Безуспешно пытаюсь без учителя научиться, как избыть сердце в слезах.

Волосы у меня, несмотря на брильянтин, встали дыбом. Я закрыл входную дверь так осторожно, будто обчистил дом. Поскорей прошел по газону и хотел прокрасться наверх, пока мама не заметила. Но хотя она еще шила, она слышала все.

– Что-то разговор был короткий, Оливер?

Я хмыкнул, изо всех сил подражая папе.

– Иди сюда и рассказывай.

Тяжело вздыхая и, как ни странно, покраснев, будто меня поймали на подлости, я вошел в гостиную.

– Ну, так что она тебе сказала, детка?

– ... Ее не было.

– Глупости! Она не выходила из дому.

– Я тебе говорю – не было ее. Может, спать легла.

Мама посмотрела на меня поверх очков и слегка улыбнулась.

– Может, и легла.

Так я избавился от Стилборна и думал, что навсегда. А мне бы знать, что, пока не порвана пуповина, расстояние не отменяет закона всеобщего нашего тяготения. Первый же номер «Стилборнского вестника», переправленный

мамой, сообщал не только о моем великолепном возвышении в статус студента, но и кое-что о Пружинке. Я прочел, что мисс Долиш («известная жительница нашего города») попала в аварию на пересечении Королевской тропы и Портовой улицы. Повреждения незначительны, но мисс Долиш перенесла шок. Новость не показалась мне существенной, но когда я приехал домой на пасхальные каникулы, кое-что прояснилось. Я долгими часами бродил по округе. Как-то перешел Старый мост и взобрался на гору в сторону леса, чтоб удрать подальше от Площади. Глубоко задумался над тем, как бы провести летние каникулы где-нибудь за границей, и поэтому чуть не налетел на Пружинку. Малолитражка стояла поперек дороги. Передние колеса, зайдя за травяную обочину, завязли в грязном кювете. Тут же, вяло озирая лес, стояла Пружинка. Деваться было некуда.

– А-а! Мисс Долиш! Какие-то неполадки?

Сначала она повернула глаза, потом голову. Плотно стиснутый рот в глубоких бороздах.

– Вы не ушиблись, мисс Долиш?

Вдруг лицо разгладилось и просияло.

– А-а, старина Ктотэм!

– Вам помочь?

– Помочь?

Снова рот сжался, лицо потемнело. Вернулись борозды. Она затрясла головой, медленно, хмуро.

– Нет. Нет, нет, нет.

– Я могу подтолкнуть...

– Нет, нет.

Молочный фургон, подпрыгивая и грохоча, выехал из лесу.

– Может, я...

– Нет.

И все трясла головой, супилась и говорила "нет", будто билась над ускользавшей от решения задачей.

– Ну, тогда я...

Вдруг тьма рассеялась. Поразительно, жутковато – такая резкость перемены, как в радио с не исправными лампами: звук – вот он, только что был и – р-раз – щелк – ушелкивает куда-то. Взгляд сосредоточился на мне, улыбка открыла золотое сверканье.

– А-а, старина Ктотэм! Что? Девочку высматриваешь в лесу?

Я вспомнил всю историю с Эви Бабакумб и почувствовал, что багрово краснею. И отшатнулся, как мечом обороняясь тростью.

– Ну а как фортепьяно, дитя мое?

– Никак.

– Есть кое-что поинтересней, а?

Я чувствовал, как лоб у меня покрылся испариной...

– Химия, физика. Знаете что? Я сейчас иду в Стилборн. К сожалению, это довольно долго. Может, меня кто-то подбросит. Может, за вами прислать Генри?

Она запрокинула голову и расхохоталась.

– А знаешь, Ктотэм? Он ведь всегда сам возится с моей машиной, бензин накачивает и меняет все эти штуки внутри, ну, как их, не знаю. И сам всегда ее чистит, моет. Наденет спецовку и лезет под нее, как тогда, когда он...

– Так я пришлю его, мисс Долиш. Или мне лучше остаться? Нет? Вы уверены? Вы не боитесь одна тут?..

– Тут, в лесу?

Она снова расхохоталась. Потом, сразу, лицо потемнело, потухли, застыли глаза.

– Мне ничего не грозит. Кому нужна такая старуха? Мне ничего не грозит.

– Я постараюсь поскорей.

Я зашагал по проселку кратчайшим путем к Стилборну. Не доходя до поворота, я оглянулся и помахал, чтоб ее подбодрить, но она не видела меня. Стояла возле машины и смотрела в лес. Добравшись до плавной дуги шоссе, я метров за сто увидел приближающийся драндулет Генри. Я кричал и махал Пружинке, тщась изобразить семафор. Я кричал и махал драндулету. Генри проехал мимо, не заметив меня, в темном двубортном костюме и фетровой шляпе, – проехал мимо, скорбно уставясь вперед сквозь ветровое стекло. Я постоял, пока не увидел, как он притормозил рядом с Пружинкой.

За ужином, когда меня расспрашивали о прогулке, мама была вся внимание. Когда я отчитывался о встрече с Пружинкой, кивала и мрачно усмехалась. Папа глянул на нее сквозь очки.

– Ухудшение.

Я смотрел на него, на нее.

– Ухудшение? О чем ты? В чем дело?

Мама отмахнулась от моего вопроса.

– Я знала, что этим кончится, когда он своего добьется.

– Будет тебе, – сказал папа веско, налегая на пирог с мясом. – Будет. Чем ей плохо? Десять раз вернула все сполна. Надо отдать должное Генри Уильямсу. У него отлично идут дела.

– Не то что у некоторых, – сказала мама вредным голосом. – Погодите, он еще полгорода скупит, за него я как раз не беспокоюсь.

Я принял это за тонкую ссылку на небогатый итог моего первого экзамена по химии и молчал. Папа молчал тоже. Мама завладела площадкой – но она к этому привыкла.

– Джеки Уильямс в Оксфорд не поедет, даже если окажется, что у него есть мозги, в чем я очень сомневаюсь. Сразу пойдет в бизнес. Так у них водится. Денег-то у него хватит его отправить, да зачем ему? А бедная мисс Долиш надрыдается...

Тут папу прорвало.

– И вовсе ей это не нужно, – сказал он резко. – Да на одни проценты с того, что она вложила в его дело, она могла бы жить, как... в Борнмуте [34] могла бы жить, если бы хотела.

Мне стало скучно.

– Зато сегодня ей повезло. И на том спасибо. Правда, непонятно, почему молочник не остановился...

– Повезло? – сказал папа. – Повезло?

И мама – эхом:

– Повезло?

Они переглянулись, потом посмотрели на меня.

– Но она могла же застрять. У меня час заняла дорога. И если б не подоспел Генри... Да что такое?

Они снова смотрели друг на друга, мама с хитрой усмешкой.

– Оливер, детка, – сказала мама нежно. – Ты, конечно... Но тебя ведь давно не было. Все про нее знают – в том числе и молочник. Она была в ста метрах от перекрестка в лесу, да?

– Там телефон-автомат, – буркнул папа. – Она ему звонила.

Я отпихнул стул.

– Господи! Ну и ну!

– И никакого везения.

– Почему же она мне не могла сказать! То есть я-то, я же...

Мама громко расхохоталась. Потом стихла.

– Бедняжка, – вздохнула она. – Она от него хочет единственного – хоть капли внимания.

У меня все оборвалось внутри. Поздно, позже, чем у всех по соседству, кусочки – старые, новые – сложились в картинку у меня в голове. Я так и стоял с открытым ртом. Мне нечего было сказать. Но что-то они увидели в моем застывшем лице, потому что папа протянул руку – неловко – и положил на мой рукав.

– Мы совсем забыли, как много она для тебя значит, Оливер. Но понимаешь, сынок, с этими телефонами – она и раньше это делала.

Папин жест так не вязался с принятой у нас сдержанностью, что я перекосялся и встал. Буркнул:

– Ну, если у нее хватает денег...

– Ах, – сказала мама загадочно. – Не в деньгах счастье. Когда-нибудь ты поймешь, Оливер.

Я остался в недоумении. При всей запутанности моих чувств, в последних маминых словах я смутно уловил некоторое противоречие с тем, что она говорила сначала. И впервые я понял, что она не только моя мама. Но еще и женщина. Это открытие совершенно сбивало меня с толку. Я стоял посреди прихожей, в перчатках, в шарфе, одним концом заброшенном на спину, и терзался от унижения, обиды, от какой-то боязни рампы: все мы выставлены на всеобщее обозрение, все друг на друге паразитируем, все мы ряженные и стесняемся своего маскарада. Я открыл входную дверь, убегая от маминой проницательности. А когда закрывал, услышал ее недодушенный смехок:

– Интересно, что она еще сочинит после телефонов-автоматов?

И теперь, когда мама мне присылала «Стилборнский вестник», я прилежно его изучал. И действительно, я узнал не только, что за органом была мисс К.С. Долиш, но на другой странице мисс К.С. Долиш облагалась штрафом в размере пяти фунтов, а потом и в размере десяти. Приезжая домой на каникулы, я видел иногда – но стараясь держаться подальше, – как она идет от гаража к дому походкой, бледно напоминающей о былой пружинистости. Я видел мрачность лица, сведенный рот, застывший взгляд.

– Бедняжка, – механически приговаривала мама.

Очевидно потеряв к ней всякий интерес. Как та давно умершая Офелия с полной шляпой листвы, Пружинка стала стилборнской чудачкой, с которой сжились и смирились. В конце концов я прочитал, что мисс К.С. Долиш вызвана ответчицей по делу о несоблюдении правил дорожного движения. Сама она не пострадала, но кто-то пострадал. Я читал речь судьи: он учитывает то-то и то-то; «но все мы не молодеем, и в собственных же интересах мисс Долиш» и т. д. и т. п. Он вынужден лишить ее водительских прав сроком на пять лет.

Я читал, сидя на подоконнике, шпиль университетской церкви вытянулся передо мной. Помню, как цинично я усмехался. Кажется, идея телефона-автомата себя исчерпала? Пришлось придумать что-то новенькое? Но тут она, пожалуй, перестаралась. В последний раз привлекла к себе внимание, думал я в своей невинности. Я был химик, не биолог. Только уже собираясь в Оксфорд перед последним курсом, я наконец понял все.

Осень стояла жаркая, в кои-то веки у нас бабье лето. Догорали штокрозы. Охраняя наш вход, они свешивали с почти черных стеблей красно тлеющие головки. Газон посреди Площади тоже весь почернел, и некоторые травинки вскидывались и потрескивали, когда на них наступали. Мама суежилась на кухне, собирая ужин. А так в доме не раздавалось ни звука. Папа задерживался в аптеке, и гостиная была в моем полном распоряжении. Я слышал, как Пружинка наяривает в церкви безупречно скучное соло на органе. Я стоял посреди наших кресел и чашечек, слушал, смотрел. Вот орган умолк, и почти тотчас Пружинка прошла по ту сторону Площади, вошла к себе. Я радовался, что она благополучно исчезла и я не рискую на нее напороться. Площадь свободна. Можно спокойно выйти.

Дверь ее дома открылась. Пружинка вышла, держась особенно прямо. В вельветовой шляпе набекрень на жидких волосах. Прикрыла за собой дверь, не глядя натянула перчатки. Лицо спокойное, улыбающееся. Повернула налево, пошла по мостовой к гаражу Генри. Не глядя ни направо, ни налево. Было так тихо, что я слышал цоканье туфель по камню. Я смотрел, смотрел, пока она не скрылась за ратушей.

Меня ломало, корежило, подмывало бежать – тем не менее я захлопнул дверь гостиной, потом прокрался обратно, мимо кухни, в сад, между яблонь – в свой укромный уголок. Я смотрел, смотрел – я старался на чем-нибудь сосредоточить взгляд, чтоб не видеть того, что отпечаталось на сетчатке. Во мне бушевал шквал, и казалось, что он снаружи, везде, что засохшая паутина и пауки среди кирпичей дрожат из-за него, из-за нее, из-за меня. Я слушал собственный, чужой голос:

– Нет. Нет. Ох нет. Нет. Нет...

А сам уже знал, что это выжжется во мне навсегда, пожизненным невытравимым тавром: шагающая по мостовой Пружинка, мощные груди, жирный живот, неуклюже перекатывающиеся ляжки. Пружинка со спокойной улыбкой, в шляпе, перчатках, плоских туфлях, и больше на ней – ничего.

* * *

После этого Пружинка исчезла. Дом стоял себе как всегда, малолитражка стояла у гаража Генри – мытая, сверкающая. О Пружинке не упоминали. Она стала одной из тех, от кого дружно отворачивался Стилборн. Так бы мне толком и не узнать, что с ней происходило все эти годы, если б я не задал прямой – наглый – вопрос. Было это в конце последнего ежегодного визита родителей ко мне в Оксфорд. После чая, когда мы мучительно добивали время, медлившее между этой процедурой и отходом поезда. Как всегда – хотя очень им радовался, – я впал в немоту, и мы все трое не знали, что бы еще сказать. Мы поглядывали друг на друга через пропасть лет и несхожего опыта. Конечно, только неловкость тягучей паузы и побудила меня завести этот разговор.

– Да, кстати, мама, а как Пружинка? Я в последний раз ее что-то не видел.

Снова повисло молчание. Папа старательно набивал трубку, вплотную приблизил к ней толстые очки.

– Она заболела, – мама выразилась деликатно и сдержанно, – ну, знаешь... Ей пришлось уехать.

Они быстро переглянулись.

– Неприятная история. – Папа сосредоточенно зажигал спичку. – Очень неприятная история.

Мама прихлопнула рот кружевным платочком.

– Бедняжка, – сказала она.

Молчанье тянулось, сгущалось. Да и что тут скажешь?

* * *

И однако мне суждено было еще раз увидеть Пружинку, правда уже через много лет. Наступила война, потом мир. И вот после долгих мирных лет я поехал с семьей – уговаривать маму не жить одной во флигеле, а перебраться к нам. Но ни мне, ни жене не удавалось сладить с ее истериками и слезами. Я чувствовал, как тяжело это детям, и старался ее успокоить.

– Все эти кошки, – сказала мама, утирая глаза. – Ты же знаешь, я не выношу кошек.

– Ну, не обращай внимания.

– Тебе легко говорить. Нет, надо ей сказать. Столько их развела. Всю ночь торчит на улице: «Кис-кис-кис, поди сюда, к мамочке! А где молочко?...» Я глаз не смыкаю...

– Кто это развел столько кошек, мама?

– Она. Мисс Долиш, – рассердилась мама. – Просто сил нет терпеть эту женщину.

– Пружинка!

– Поди скажи ей насчет кошек, Оливер! Я просто больше не могу!

– Пружинка! Так она вернулась? Я думал... я думал, она...

– Конечно вернулась. Давно уже. Ты бы сказал ей, Оливер.

– Но мы же уезжаем буквально на днях...

Мама разразилась слезами.

– Нет, ты должен с ней поговорить! Отца не успели похоронить... Все вокруг ими кишит! А если они сюда повадятся...

Я потрепал ее по плечу – неуклюже и так похоже на папу, что поскорей отдернул руку.

– Ладно, мама. Я пойду с ней поговорю.

– И вообще. Ты же всегда так...

– Знаю, мамочка, милая. Я ее обожаю.

Я вышел и стоял на Площади, собираясь с духом. Марк обстреливал из пулемета Софи, занятую разбрасыванием маргариток и не обращающую на него никакого внимания. Но при виде меня они бегом бросились ко мне. Я обоих взял за руки и прошел к двери рядом с эркером. Она была открыта, мы вошли и стояли в прихожей. Я постучал в дверь музыкальной комнаты и не дождался ответа. Но дверь во двор тоже была открыта. Мы вошли туда, и я жадно глотнул вольного воздуха. Из-за кошек, попугайчиков и канареек и без того затхлый дом провонял уж совсем невозможно. Злонамеренного вида котяра скользнул мимо нас в дом, и сразу же я услышал шипенье и шерстистое шмяканье битвы.

Пружинка медленно брела по садовой тропе, она казалась шире, чем эта тропа, – стала совсем квадратная. Вельветовая шляпа по-прежнему кренилась на жидких волосах, галстук надвое рассек необозримый простор. Остановилась в двух шагах и разглядывала нас, всех троих.

– Здравствуйте, мисс Долиш. Вы меня не узнаете?

– Старина Ктотэм. Твои?

– Да, это Марк, это Софи. Ну как вы, мисс Долиш?

– Пойдем в дом.

И пошла в прихожую. Мы двинулись следом, дети жались ко мне. Меня уже точило, что зря я это затеял. Пружинка уставилась на попугайчика, который не обращал на нее внимания, занятый собственным обольстительным образом в зеркале. Она причмокнула:

– Тце-тце-тце!

– Марк, Господи Боже, детка! При всех! Беги скорей домой.

Пружинка оглядела его с порога.

– А его этот мальчишка отличился на войне. Кто бы мог подумать, а?

– Да уж.

– Ну а ты, Ктотэм?

Я прикинул в уме.

– Мне, признаться, досталась очень мирная война. Приходилось, конечно, держать газ наготове. Но в ход

пустить не пришлось.

Она вернулась к попугайчику.

– Тце-тце-тце!

– Вы очень полюбили животных, правда?

– А я и всегда любила, когда еще маленькая была, как твоя дочка. Знаешь, Ктотэм? Я строила из себя мальчишку, чтоб строить из себя ветеринара! Но конечно, куда мне было с моей музыкой время находить на зверюшек. Да и с этим жутким мальчишкой – как бы я их в доме стала держать?

Меня кольнула мысль, что время для нее спрессовалось. Но я рта не успел открыть. Она снова заговорила. В глазах мелькнул вызов.

– Я ведь долго болела. Seriously болела. Ты знал, да?

Снова я сделался маленьким мальчиком с детской скрипачкой. И молча затряс головой. Вдруг рыхлые щеки дрогнули, просияло золото, она разразилась хохотом.

– Но сейчас-то мне лучше, гораздо, гораздо лучше!

Дочкина щека вжалась в мою ладонь. Но Пружинка уже перестала смеяться, нагнулась и погрозила паре свирепых глаз, горевших из темноты под лестницей.

– Гадкий, гадкий!

Кот скользнул мимо нас, за дверь. Пружинка распрямилась.

– Можешь себе представить? С ним хлопот как с ребенком. Всю ночь мне спать не дает, на улицу просится!

– А вы устройтесь, как Исаак Ньютон со своими кошками. Он им вырезал в двери дыры с откидной дощечкой – побольше для большой кошки и поменьше для маленькой.

Через несколько секунд до Пружинки дошло. Она колыхалась и завывала.

– И не надо будет вставать, чтоб его впустить.

Пружинка перестала смеяться.

– Генри сделает, – сказала она. – Он прекрасно вырежет дырку. Я попрошу Генри. Он придет и сам все сделает или кого-то из своих людей пришлет.

Я кивал, продвигаясь к двери.

– Ну ладно...

– А знаешь, он ведь до сих пор сам моет мою машину. В спецовке. Больше никого к ней не подпускает. – Она кивнула мне со значением. – Такая епитимья, понимаешь? И эта женщина – тоже епитимья. Генри понимает. Он все понимает, правда?

– Да. Да, конечно.

– Ну а другие... – Она глянула на дверь музыкальной комнаты, потом на Софи. – Дочь твоя уже начала играть?

– Нет еще пока. Но она очень любит музыку, да, Софи?

Дочь уткнулась в мою брючину, прячась от квадратной тети с рыхлыми щеками. Я зарылся пальцами в ее волосы, чувствуя хрупкость этой головы, этой шеи, задыхаясь от любви, твердо решаясь охранить, защитить, не отдать ее этой гиблой надутости, и чтоб была у меня настоящей женщиной, женой, матерью.

– Я называю твоего отца Ктотэм, потому что есть упражнения такие.

Я потоптался неловко.

– Ладно... Нам, наверно, пора...

– Ну тогда прощай, Ктотэм.

– Спасибо вам за все...

– Не стоит. Подумаешь, дело большое.

Она повернулась к саду. Остановилась, посмотрела на меня.

– А знаешь, Ктотэм? Если бы мне пришлось спасать из огня ребенка или попугайчика, я бы выбрала попугайчика.

– Я...

– Прощай. Думаю, мы больше никогда не увидимся.

Тяжко спустилась на две ступеньки. Я услышал, как плоские туфли шаркают по саду.

Никогда.

* * *

Тонна мрамора, арфа, каменная крошка, иммортели, беломраморный бордюр, громыхание органа в южном трансепте -

КЛАРА СЕСИЛИЯ ДОЛИШ1890-1960

– и посреди органного грохота три слова мелкими буквами прямо у меня под ногами:

РАЙ – ЭТО МУЗЫКА

Я ужаснулся, поймав себя на неприличном смехе в таком месте. И, будто гигантский палец зацепил во мне важный нерв, я каждой жилкой почувствовал, откуда идет эта жуть. Тут, под землей, совсем рядом, как всегда в двух шагах, – это жалкое, жуткое, неиспользованное тело, с блеклыми кружевами и китайским лицом. Как проверка слуха такая, в результате которой все померкло, оставя только омерзение, оторопь ребячества и атавизма. Тени меня обступали и застили солнце. Я услышал собственный голос – как чужой, независимый от меня в своей попытке искренности:

– Я никогда тебя не любил! Никогда!

Но я стоял уже за церковной оградой, на газоне посреди Площади. И даже не сразу сообразил, как я сюда попал. Немолодой господин дал деру, будто опять испугался длинной пустоты между пустыми комнатами.

* * *

Хрустальный девичий хохоток выпорхнул из дома Уилсонов, снабженного теперь вывеской «Биржа труда». Тележка мороженщика прогрохотала мимо родительского флигеля, призывая к себе внимание с помощью мегафона. За колоннами ратуши двенадцать белых телевизионных теннисистов одинаково подавали двенадцать

мечей. Оторопь моя прошла понемногу. И в уютно защищенном нутре проступало:

* * *

Я боялся тебя, я тебя ненавидел. Вот и все. Я обрадовался, когда узнал, что ты умерла.

* * *

Я прошел вперед, к ее дому. Входная дверь была не просто открыта, но, снятая с петель, прислонена к стене. Снизу вырезан четкий квадратик, прикрытый откидной дощечкой. Между входной дверью и ступеньками в сад рабочие густо запутали свои меловые следы. Я прошел к музыкальной комнате, поднял руку, чтобы постучать, спохватился. Распахнул дверь, она, громыхнув, прынула назад от стены. На грохот отозвался резкий бумажный постук на окне, за кисейной занавеской, – верней, где она раньше была. Я оторопело стоял, подняв руки. В паутине бессмысленно бились потертые крылья. Я кинулся сражаться с рамой. Но увечное создание трепеща рухнуло на пол и застыло в неподвижности. Тень клавиатуры витала в пустой комнате, органные педали приходились над участком нестертого пола. Мой взгляд вернул восвояси, на осветленные пятна обоев, две коричневые фотографии. Дальше любоваться музыкальной комнатой мне не хотелось.

Я помешкал в прихожей, воображая длинный коридор наверху. Нет, нет. Хорошенького понемножку. Я быстро спустился по двум ступенькам и двором прошел в сад, под добрую защиту солнца. Работники Генри уже начали разбирать длинную стену, отделявшую лавровые кусты и ракитник от его разрастающегося бизнеса. Складывали ценный старый кирпич. Но в двух местах стена обвалилась от собственной тяжести, похоронив сорняки под грудами желтого цемента и красных осколков. Меня потянуло в глубь сада, где я никогда не был. И я пошел гаревой тропкой, теснимой подорожником и одуванчиками. Протиснулся между лаврами и очутился у речки. Эта часть сада оказалась прибрежной выгородкой с каменными ступеньками, незабудками, еще не зацветшей желтофиолью и медленной, плоской водой. На верхней ступеньке стояло виндзорское кресло. Хоть пауки оплели ножки, птицы изгадили сиденье, хоть порыжел и потрескался лак, кресло молча, неопровержимо свидетельствовало, что она тут сидела – может быть, каждый вечер – в последнее свое лето и осень, среди комаров и стрижей. Возле длинной стены против кресла были сложены кирпичи. И над ними стена вся закопталась. Я оглядел кирпичи и понял, что это не просто невинный костер. Уже несколько зим поливало дождями обрывки, клочки, корешки; целые подгнившие переплеты все же позволяли прочесть: Брайткопф и Хартель, Аугенер, Макмиллан [35], Бузи и Хокс... и почти не горячие стопки «Мьюзикл таймс»...

Генри этого никогда бы не сделал. Эта музыка стоила хороших денег. Я заметил металлический блик, подцепил стальную планку, и моя догадка подтвердилась. Свинцовый грузик расплавился, но этот клинышек, обеспечивавший непереносимо точное тиканье, был опознаваем. Никогда бы Генри не стал сжигать метроном старого мистера Долиша, ценную антикварную вещь в лакированном футляре. Так же, подумал я, поймав на себе сверлящий сумрачный взгляд из травы, как не стал бы он расколошмачивать молотком на гипсовые обломки Бетховена. А трухлявый деревянный угол – видно, все, что осталось от фотографий и рамок...

Я сидел в ее кресле, уткнувшись локтями в колени, подбородком в ладони. Я не мог разобраться – к чему, к кому относятся мои чувства, да и в самих чувствах.

– Ну как, все осмотрели?

Генри стоял по ту сторону пролома – смуглое лицо, влажный взгляд, седые волосы, собранность, аккуратность. Я поднялся и начал неловко карабкаться по кирпичам.

– Вам помочь?

– Я сам, спасибо.

Бог о бок мы побрели обратно. Склоненные головы, руки стиснуты за спиной, медленный, траурный шаг.

– Это ты хорошо придумал, Генри, – насчет надписи.

Он не отвечал. Я посмотрел на него искоса.

– Почувствовать – это да, а пока до пониманья дойдет... Я такой.

Мы остановились и посмотрели друг другу в лицо.

– Можно сказать, Генри... можно сказать...

Можно сказать, что когда наконец она была спокойна и счастлива, когда у нее расправилось и улыбалось лицо, ее увезли и лечили до тех пор, пока хорошенько не вылечили и не сделали снова несчастной. Можно и так, например, сказать. А вообще – что тут скажешь.

– ... А-а, неважно.

Мы молча пошли дальше, сошли с бетона на мостовую. Я вынул деньги – уплатить за бензин – и поискал глазами бензинную леди. Она явилась, но Генри от нее отмахнулся.

– Разрешите, сэр. Нет, нет, ну что вы. Это же мне в удовольствие. Через столько лет с вами увиделся.

Взял деньги и пошел разменивать. Я стоял, разглядывал стертую мостовую, исписанную так мелко, так неразборчиво; я видел: ступни, мои в том числе, ступают, проходят. Вытянув ногу, я постучал своим живым носком, прислушался – топ, топ, топ, – и вдруг на меня нашло: да если бы я мог ссудить этот звук, собственное мое тело, мою возможность избирать будущее этим невидимым ступням, да я бы все отдал – все. И в ту же секунду я понял, что, как Генри, всегда за все плачу только по сходной цене.

– ... и девять пенсов, итого три фунта. Спасибо, сэр.

Я посмотрел ему в глаза, увидел в них собственное лицо.

– Прощай, Генри.

Он поднял руку, без слов. Я сел в свою машину исключительного качества, взял с места, проехал по Старому мосту и выехал на автостраду. Я старательно сосредоточился на руле.

Примечания

1

Моисеевич Бенно (1890-1963) – английский пианист, родом из России. (Прим. перев.)

2

Stilbourn – вымышленный город, название которого по звучанию ассоциируется со still-born – «мертворожденный».

3

Летное училище близ города Линкольна. (Прим. перев.)

4

Веллингтон Артур Уэлсли (1769-1852) – победитель Наполеона при Ватерлоо.

5

Amor vincit omnia – любовь побеждает все (лат., искаж.). (Прим. перев.)

6

J. H. S. – Jesus Hominum Salvator – Иисус Спаситель человечества (лат.). (Прим. перев.)

7

Доуленд Джон (1563-1626) – английский композитор, автор многих произведений для хора и голоса с оркестром. (Прим. перев.)

8

Литературная аллюзия: действие многих романов английского писателя Энтони Троллопа (1815-1882) происходит в небольших вымышленных городах Барчестер и Омниум в графстве Барсетшир. Приблизительно в тех же местах У. Голдинг расположил и свой Стилборн.

9

Ситуэлл Эдит (1887-1964) – английская поэтесса, критик, прозаик. (Прим. перев.)

10

«Крошка Одри смеялась, смеялась, смеялась» – расхожая фраза 1930-х годов, пущенная в обращение благодаря не очень приличному анекдоту (Прим. перев.)

11

Бернарда Томас Джон (1845-1905) – известный филантроп, основавший множество детских приютов – так называемых Домов Барнардо. (Прим. перев.)

12

Лондонский музыкальный театр.

13

Воображаемое королевство в юго-восточной Европе, место действия рыцарских романов английского писателя Энтони Хоупа (1863-1933).

14

Дословно «Пожиратель мяса» (Beef Eater), прозвище английских королевских гвардейцев. (Прим. перев.)

15

У. Шекспир. «Двенадцатая ночь», II, 5.

16

Вероятнее всего, имеется в виду Айвер Новелло (1893-1951), знаменитый актер, композитор и драматург, который был очень популярен в Англии в предвоенные и послевоенные годы.

17

Имеется в виду пьеса английского драматурга Б. Томаса (1856-1914) «Тетка Чарлея» (1892).

18

Артистический район в юго-западной части Лондона. В XVII-XVIII вв. был застроен красивыми богатыми особняками.

19

Беннет Уильям Стерндейл (1816-1875) – английский пианист и композитор. (Прим. перев.)

20

Холст Густав Теодор (1874-1934) – английский композитор. (Прим. перев.)

21

Оратория Якоба Мендельсона-Бартольди (1809– 1847). (Прим. перев.)

22

Кор 5, 20. (Прим. перев.)

23

Нарицательное имя жителя Уэльса; ср. ирландец – «пэдди». (Прим. перев.)

24

Крейслер Фриц (1875-1962) – австрийский скрипач и композитор; Падеревский Игнацы Ян (1860-1941) – польский пианист и композитор; Корт Альфред (1877– 1962) – французский пианист и дирижер; Казальс Пабло (Касальс; 1876-1973) – испанский виолончелист и композитор. (Прим. перев.)

25

Оратория Якоба Мендельсона-Бартольди (1809-1847). (Прим. перев.)

26

Оратория Георга Фридриха Генделя (1685-1759). (Прим. перев.)

27

Станфорд Чарльз Вильерс (1852-1924) – английский композитор, дирижер, музыковед, обрабатывал народные песни, издавал сборники народных песен и баллад. (Прим. перев.)

28

Штайнер Якоб (1617-1683) – австрийский скрипичный мастер, придворный музыкант. (Прим. перев.)

29

Маттей Тобайес (1858-1945) – английский пианист, педагог, теоретик фортепианного искусства. (Прим. перев.)

30

Известный сборник церковных гимнов. Впервые издан в 1861 г. (Прим. перев.)

31

Концерн по производству технических резиновых изделий, в частности автопокрышек. Джон Бойд Данлоп (1840– 1921), изобретатель пневматических шин. (Прим. перев.)

32

Хесс Майра (1890-1965) – одна из виднейших английских пианисток (Прим. перев.)

33

Катнер Соломон (1902-1988) – английский пианист. Дебютировал в возрасте 8 лет, исполнив Первый концерт Чайковского (Прим. перев.)

34

Фешенебельный курорт на юге Англии. (Прим. перев.)

35

Имеются в виду музыкальные пособия, издаваемые лейпцигской фирмой «Брайткопф и Хартель», лондонской «Аугенер Лимитед»; упоминается также известный канадский композитор, органист и дирижер сэр Макмиллан Эрнест Кемпбелл (1893-1973).